

ЗИНАИДА ГИППИУС

РОМАН-ЦАРЕВИЧ

Чертова кукла

Зинаида Гиппиус

Роман-царевич

«Public Domain»

1913

Гиппиус З. Н.

Роман-царевич / З. Н. Гиппиус — «Public Domain»,
1913 — (Чертова кукла)

«— Чего я желал бы?..Разговаривали полушутливо, о каких-то пустяках. Ведь они едва знакомы.Кругом тихо и темно. Так тихо, темно, притайно, как бывает днем в летнюю пору перед сильной грозой.— Чего желал бы...»

© Гиппиус З. Н., 1913

© Public Domain, 1913

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	8
Глава третья	12
Глава четвертая	15
Глава пятая	19
Глава шестая	21
Глава седьмая	25
Глава восьмая	28
Глава девятая	32
Глава десятая	36
Глава одиннадцатая	39
Глава двенадцатая	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Зинаида Гиппиус

Роман-царевич

История одного начинания

Глава первая

В буре и грозе

– Чего я желал бы?..

Разговаривали полусутоливо, о каких-то пустяках. Ведь они едва знакомы.

Кругом тихо и темно. Так тихо, темно, притайно, как бывает днем в летнюю пору перед сильной грозой.

– Чего желал бы...

И ветер, со стоном, внезапно сорвался, – будто сама туча взмахнула темно-синими крыльями.

Сразу ударил ветер, зашумел сырым холодом около девушки, сидевшей на ступенях балкона; длинные, волнистые пряди ее бледных волос вырвались из косы и повлеклись по ветру. По ветру, с жидкими, торопливыми жалобами, влеклись вершины берез, клонились, тянулись, стлались, влеклись длинными прядями, зеленые июньские листья сыпались вбок и улетали...

– Что, что? Не слышу! Ветер! и гром! – прокричала девушка, стараясь вдохнуть, глотая ветер и смеясь.

Собеседник ее, молодой человек в синей косоворотке, сделал два шага вперед, навстречу ветру, и крепче надвинул полотняную фуражку.

– Хорошей грозы желал бы... Ветра, ветра...

Слова с ветром летели, пролетали мимо девушки, едва слышные, едва понятные.

– ...желать? Быть может, еще жениться на вас...

Конечно, ей послышалось. Ветер отнес, запутал, исказил слова. Как смешно.

– Что вы говорите? Что? – крикнула она опять сквозь сухой шум испуганных берез и переливчатое воркованье грома.

А вдруг он повторит? Как быть тогда? Ведь это или насмешка, или наглость, или сумасшествие. Они едва знакомы. Но такой странный человек...

Гром поднял голос, зарычал, раскатился и закатился, но не смолк. Ветра вдруг словно не бывало. Словно улетел весь – ничего не осталось.

В синеватой тишине прозвучали спокойные слова:

– Я сказал: «чего желать? О, так желаний много...» Вы не помните этого стихотворения?

Тишина была мгновенна. Опять налетел ветер, второй, опять покорно вытянули березы свои зеленые волосы, опять, опять... А над ними, по синей туче, словно кто-то пальцем прочертил огненные слова. Сквозь железный грохот осwirепевшего грома не слышно было, как стукнула балконная дверь.

– Лилька, безумная! Что ты здесь делаешь? Иди скорее домой. Такая гроза. Наверху уже, кажется, окно разбило.

Девушка, поправляя выбившиеся волосы, поднялась.

– Иду, тетя Катя. А так хорошо!

– Ничего нет хорошего. Подумаешь! – кричала тетя Катя, молодая, пышная, красиво освещенная молниями: от них то розовел, то червонел ее белый капот.

– Батюшки! Да и Роман Иванович тут с тобой. Роман Иванович! Идите! Убьет непременно.

Сменцев обернулся.

– Нет, не убьет. Я люблю ветер. И он меня любит. Не бойтесь.

Зашагал прочь от балкона и сгинул за деревьями, за сизой мглой начинающегося, еще летучего дождя.

– Экий сумасшедший. Ведь ливень будет. Ох, вот опять! Иди же, Лилюша, я дверь ставней прикрою.

Они вместе вошли в длинную, низкую комнату, где стояли сумерки, – хоть огонь зажигай.

– Пойдем наверх, к детям, – сказала Катерина Павловна. – Там и светлее, да и Витя меня беспокоит: позеленел весь, явно трусит грозы, а не признается. Такой нервный ребенок.

По угловатым, нелепым, темным коридорам они дошли до прихожей и стали подыматься по лестнице.

Лестница широкая, дубовая, винтом – потому что в башне. В круглом окне трепыхались молнии.

– И не знаешь, что делать нужно, что говорить, вот хотя бы в грозу, – болтала Катя, путая по ступеням складки капота. – Вот я была маленькая, в деревне у нас, в Шишкове, так когда гроза – няня свечки под образами зажжет, удар – она сейчас «Свят, свят...» и нам велит крепиться, и рассказывает что-то такое интересное и утешительное... А с Витей сидит эта идиотская бонна ученая столбом, да равнодушно мямлит: «Это электричество. Займитесь книжкой».

Девушка улыбнулась. Очень похоже передразнила Катерина Павловна Витину деревянную бонну.

– Вавочке – той все равно, а Витя ужасно впечатлительный. Громоотводом его, что ли, утешить... Да громоотвод у нас испорчен, неудачный такой...

Пришли в детскую. Там было все словно по писаному, четырехлетняя Вавочка мирно занималась кубиками на ковре, бонна сидела равнодушным столбом, а Витя забился в дальний угол.

Вавочка – общительная, ласковая, в меру шумная, толстая девочка. Коротенькая и черноглазая – в мамашу. Витя неизвестно в кого. Он рыжеват, бледен и тонок. Брови у него тоже светлые, как будто и вовсе их нет. Но часто морщит брови, и тогда лоб краснеет.

– Мама... – приветливо пропела Вава, не оставляя кубиков.

Но Катерина Павловна позвала Витю.

– Куда ты спрятался? Уже гроза проходит. Иди. Кто же боится грозы? И ведь уже тебе скоро восемь лет.

– Я и не думаю бояться. С чего ты взяла? – проговорил Витя быстро, дрожащим голосом. – Просто неприятно. Стучит. И потом ветер.

– И ветра нечего бояться. Лиля, ты слышала, как Роман Иванович крикнул, что ветер его любит, и отправился в парк? Экий чудачина. Пожалуй, и дождь его любит. Гляди, что делается.

Окна облились сплошными потоками воды. Точно ведро на них опрокинули. Но так же внезапно дождь прекратился, шумел только ветер. Молнии становились реже.

– Ветер его любит... – как-то задумчиво сказал Витя, выполз из угла и присел на ковер около дивана. Потихоньку.

Вавочка полезла на колени к матери. Занятая собственными однообразными мыслями, однообразно, нараспев повторяла: «ма-ма, ма-ма!» Потом потянулась к сидевшей рядом девушке: «У-ля, У-ля!»

Но та не обратила на нее никакого внимания.

– Ты, Катя, давно знаешь Сменцева? – спросила она.

– Давным-давно. Ведь он Алексеев давнишний приятель. Знаю-то давно, да почти не видала. Мельком. Живет он с нами в первый раз. Говорят, интересный. Алексей в нем души не чает. И представь, Люлюша, ему лет под тридцать, а кажется юношей.

– Нисколько не кажется, – возразила девушка.

– Ну да, это потому, что он такой широкий, крепкий, плечи точно четырехугольные. Но он высокий, это при высоком росте красиво. А лицо у него совсем юное.

Девушка ничего не ответила, хотя и тут, кажется, не согласилась. Смуглое лицо Романа Ивановича встало вдруг в ее памяти ярко. Беспокойное лицо. Красивое? Некрасивое? Не в том дело: беспокойное. Изогнутые, длинные, будто нарисованные брови; плотные усы, небольшие, похожие на кусочки черной ваты; притом и брови, и глаза, и все в этом лице – чуть-чуть криво. Усмехался он тоже немного вбок. Вот эта кривизна, должно быть, и беспокоила.

– Да, он красивый, – протянула Катерина Павловна, играя с девочкой. – Красивый... Ах, я вспомнила. Он уже как-то говорил, что любит ветер. Студентом, давно, в ссылке, бедствовал; нанялся в машинисты или в истопники, что ли, на железную дорогу. Рассказывал, хорошо на паровозе. Ветер, говорит, так и бьет в лицо...

– Сам на паровозе? И не боялся? – робко и жадно спросил вдруг Витя.

– Он-то! – засмеялась Катя. – Не всем же быть такими трусишками, как ты. Я думаю, Роман Иванович в твои годы...

Остановилась, заметив, что Витя покраснел весь и нахмурился.

– Я... не трусишка... – проговорил он. – Вот Уля пусть скажет. А про него я... знать ничего не хочу... Ничего, да.

Девушка нежно обняла Витю и прижала к себе.

– Конечно, ну его! Почему мы знаем, где он там ездил, чего боится, чего нет. Страшных вещей нужно бояться, это не трусость, а чего не надо, того и ты, Витя, не боишься. Я же знаю.

– А вот и солнце! – сказала Катерина Павловна, вставая. – Можно и окно отворить. Совсем прошла гроза.

Глава вторая

Стройка

К обеду ждали из Петербурга хозяина, Алексея Алексеевича Хованского, и так как погода совсем разгулялась, то накрыли на террасе.

Алексей Алексеевич приехал кислый и сумрачный. Сумрачен он был, положим, всегда. Стоило взглянуть на его длинные, бледные, вялые усы, чтобы понять характер этого человека: тихое уныние. Умелый инженер-архитектор – он проявлял большую деятельность, но порывами. А потом опять кис, сидел небритый дома по неделям, молча раскладывал пасьянс и с отвращением вспоминал свои работы. Он, впрочем, был мягок, добр, нежен к семье, никогда не ворчал и не сердился. У Хованских было порядочное состояние, и это, к несчастью, позволяло Алексею Алексеевичу месяцами предаваться своему унылому безделью.

Катерина Павловна прошла в спальню, где муж умывался и переодевался с дороги.

– Гроза тебя где застала? Не здесь?

– Нет. Ехал от станции – уже солнце было.

– А где же тебя так вымочило?

– Не вымочило. Ефим меня в грязь опрокинул.

Катерина Павловна всплеснула руками.

– Господи! Да как же это?

– Да как же. Очень естественно. Дорога хороша: пока до этого скверного лесного острога доберешься, все кости сломаешь.

– Почему острог, – обиделась Катерина Павловна, – сам же строил, сам выдумал и кирпичи эти, и башни довольно нелепые, а теперь бранишься. Мог бы и о дороге позаботиться, хоть о той, что по нашему лесу идет. И всего-то шесть верст...

Алексей Алексеевич молча отвернулся, отыскивая пиджак. Еще дорогу строить! Ему смертельно и так надоела возня с этим глупым именем, которое он с чего-то приобрел года три тому назад. Имение, имение! Просто громадный кусок земли с грязными болотистыми лесами. На берегу небольшого озера Хованский выстроил замысловатый каменный дом, с круглыми башнями, с водопроводом, неудобный и холодный. Расчистили вокруг лес, сделали аллею к озеру.

Пока строилась новая дача – оба радовались, и Катерина Павловна и Алексей Алексеевич: у нас будет имение. Но вскоре дача надоела Хованскому: нелепая. И глушь, и вся Новгородская губерния какая-то нелепая, сырая, кислая.

Не хотели сторяча давать название своей даче: долго обдумывали. Называли просто «стройкой». Привыкли незаметно, и так эта дача и осталась навсегда под глупым и нелюбовным именем «Стройка».

Хозяйства на Стройке порядочного не было. Какой же Алексей Алексеевич хозяин? Ближняя деревня, пьяная, убогая, – в двух верстах. Станция захудалая. И на Стройке жилось, действительно, не очень уютно.

Уныло сказал еще что-то Алексей Алексеевич о Петербурге, об одном деле, которое «ему навязали» и которое он кончал. Пошли обедать.

На террасе влажно и жарко. Невысохшие березы недвижны, и листья ровным светом горят на солнце.

Дети ужасно обрадовались отцу. Мальчик, как подошел, прижался, так и не выпускал отцовской руки.

– А, Улинька, «сияющее видение»! – сказал Алексей Алексеевич, целуя в лоб подошедшую к нему белокурую девушку и грустно улыбаясь ей под усами. – Рад видеть вас в добром здоровье, прелестная моя родственница. Не утонули еще в болотах? Привет от бабушки.

– Видел графиню? – спросил Сменцев, который сидел рядом с хозяином. Сменцев был в такой же синей косоворотке, очень, однако, приличной и красиво облегающей широкие его плечи.

– А ты разве... Да, ты знаешь ее сиятельство. Был, был я на минутку с докладом, вот насчет того, что внучка ее к нам прибыла и находится в вожделенном здравии. Сама графиня доклада потребовала.

– Могли бы и не трудиться, – холодно сказала девушка, которую Хованский называл гоголевской Улинькой – сияющим видением, дети – просто звали Улей, тетя Катя – Лилей, а бабушка и отец – Литтой.

– Бабушка-графиня вам не нравится, Юлитта Николаевна? – удивленно сказал Сменцев и поднял длинные, тонкие брови. – Изумительная она, графиня.

Литта поглядела строго.

– Что значит «не нравится»? Не понимаю.

И, обратившись к Алексею Алексеевичу, прибавила:

– Бабушка до сих пор не стесняла меня излишней заботливостью, я и за границу ездила одна. Не понимаю, что это вдруг. К вам нынче едва отпустила.

– Сильно она переменилась, – задумчиво сказала тетя Катя, – не постарела, а скорей помолодела. Я, впрочем, редко у нее бываю. Родня мы дальняя...

Разговор на минуту сник. Литта, скучная, глядела в тарелку. Хованскому было неприятно, что он как будто расстроил девушку, хотя не понимал – чем.

Был благодарен Сменцеву, когда тот заговорил о постороннем.

Роман Иванович не молчалив. Правда, споров он избегает, но рассказывает охотно и весело.

– Катерина Павловна, – говорит он, – не странно ли, что я Алексея сто лет знаю, а с вами до последнего времени почти не знаком был?

– Да, – мечтательно сказала Катя. – Я помню, какие мне тогда из Петербурга Алексей о вас письма писал. Восторженные. Я ничего понять не могла, но очень жаждала с вами познакомиться. И не вышло. Приехала в Петербург, а вас уже там нет.

– Да, друг, скоро тебя тогда убрали: я и не опомнился. Девятнадцатилетнего мальчишку, первокурсника...

– Вы где были в ссылке? – спросила вдруг Литта.

– В местах не столь отдаленных. Да я не жалею. Рад, что сразу же, без проволочек это случилось и по пустяшному поводу. Успел без потери времени, на свободе, и продумать нужное и прочувствовать.

Катерина Павловна засмеялась.

– Это в ссылке-то – «на свободе»?

– А еще бы. Чего лучше: одиночество, отсутствие всякой среды, – среда в юности очень влияет, – полная самостоятельность (я ведь не в тюрьме сидел) и полное отсутствие денег. Прекрасные условия для того, чтобы выработать характер и научиться думать.

– Пустяки, – сказал Алексей Алексеевич и слабо махнул рукой. – И мы в молодости... второй курс в институте пребуйный у нас был... Меня раза три засаживали... Кое-кого и высылали... Вернувшись, позлобились слегка, – после так же, как другие, в свое время угомонились...

Роман Иванович резко, неожиданно засмеялся.

– Да ты понимаешь ли, что говоришь? – крикнул он, вставая.

Встали все, обед кончился. Шли пить кофе на другой конец террасы, где он был уже приготовлен на плетеном столике.

– Утомонились! – продолжал Сменцев. – На втором курсе пошалили – и довольно? Вот тут и беда наша, корень бед, что вся интеллигентная Россия только шалит на вторых курсах, а зрелому человеку, видите ли, не до пустяков, он о своем гнезде подумывает, он службу ищет, дело похлебнее, птенцов кормить, – самому позабавиться, либо попокоиться...

– Что ты? О чем ты? – в удивлении сказал Хованский, закуривая сигару.

– О том, что студент наш смотрит на учение не как на дело, он «пребывает» в университете, потому что это нужно для будущего его самоустроения; и развлекается, от безделья, делами «общественными». Молодость требует развлечения! Но ведь надо же помнить, что это стыдно.

Алексей Алексеевич рассердился, хотел что-то сказать, но Литта подошла близко к Сменцеву и спросила:

– Что стыдно? И кому?

– Стыдно прежде всего недорослям, которые хватаются за общественные дела как за временное развлечение. Но стыдно и всем нам... всем зрелым российским обывателям... Ведь благодаря их своевременному «утомону», дела общественные и переданы в ведение недоучкам, как одно из увлекательных занятий для молодежи.

– Вы резки и грубы, – сказала Литта.

– Может быть. Но тут правда.

Сменцев уже был спокоен, легко улыбался.

– Тут правда, – повторил он. – И рад бы я был, если бы другие поняли ее, как я понял. Положим, мои условия исключительные. У меня было счастье по два дня не есть, в мерзлой избе в тифу валяться, а потом кочегаром на паровозе в морозе и в жару ездить... На паровозе-то, под огнем топки, под ветром, срывающим дыхание и таким веселым, свободным, благодатным, – многое можно понять. Он ведь не сказки мне, ветер, рассказывал; пусть поэты воображают, что ветер небесные песни поет; нет, я голос ветра знаю; я слова его разумею.

– Скажите, пожалуйста! – лениво проговорил Алексей Алексеевич. – Поэтов бранишь, а это ли у тебя не поэзия? Голос ветра...

Маленький Витя устроился на коленях отца. Молчал. И все время, украдкой, не сводил глаз с Романа Ивановича.

– Улинька, милая, – продолжал Хованский. – Вы не сердитесь, коли что, на моего приятеля. Уж у него свои мнения. И он в них тверд. Подумайте, как вернули его из ссылки, пошли времена такие-этакие, самые зажигательные, – он нет, ничем не соблазнился, в Германию уехал учиться. Отучился, – домой. Да жаль, дома-то делать уж нечего оказалось.

– Авось найдется, – небрежно сказал Сменцев.

– То-то нашлось. А для чего ты год в духовной академии вольнослушателем проторчал? Нет, как хочешь, я тебя не понимаю. И давно уже понимать перестал.

Роман Иванович ничего не ответил. Отошел от стола, медленно спустился в сад. Там было желто и тихо. Просвечивала желтым мокрая трава. Близко, настойчиво свистела какая-то птица, собираясь спать.

Катерина Павловна давно ушла с бонной и девочкой. На балконе теперь оставались только Алексей Алексеевич с Литтой и Витя, притихший на ступеньках.

– Скука унылая, – сказал Алексей Алексеевич. – И споры – тоска, и деревья – тоска... Делать нечего; да и не хочется.

Сменцев, вероятно, не отходил от балкона. Вступил на нижнюю ступеньку и сказал:

– Тебе, Алеша, влюбиться нужно. Вот что.

– Влюбиться? Ты бредишь? Или смеешься?..

– Нет, я серьезно. Для таких тихих нытиков – это единственное спасение. Влюбиться поздно, несчастно, с препятствиями, с волнениями, непобедимо. Ты, я знаю, жалуешься иногда: ах, если б верить во что-нибудь. Но это вздор. Человек, который в себя самого не верит, вообще на веру неспособен; ему под силу только любовь, и даже не любовь – влюбление.

Литга засмеялась.

– Алексей Алексеевич, – сказала весело, – а если правда? Наверно, вы не скучали, когда были в Катю влюблены?

– Глупости, глупости, – закричал Алексей Алексеевич. – И вы туда же, Улинька. Что за разговоры!

Литга поглядела на него удивленно. С чего он так рассердился? Простая шутка...

– Витя! – обратился вдруг Сменцев к тихонькому, забытому всеми мальчику. – Что вы тут? Пойдемте гулять. Со мной, в аллею, к часовне...

Но Витя не двигается, смотрит исподлобья, морщит реденькие, светлые брови.

– Витя! – сердится Алексей Алексеевич. – Что же ты, не слышишь? Иди с дядей.

– Не хочу. Не выйдет, папа.

– Что такое не выйдет?

– Да вот не хочу. И к чему это лгать? Какой он мне дядя? Сами же не велите все лгать, а потом «дядя, дядя».

Хованский удивился и с любопытством поглядел на сына.

– Да зови Романа Ивановича, как хочешь. Но будь вежлив.

– Я, папа, вежлив. Но я не хочу идти с ним. Вот и все.

Вступился Роман Иванович.

– Я просто предложил, Витя. Сказали бы, что не расположены.

Витя поглядел на него, открыл рот и молчал. Хотелось, нужно было сказать много, но слова не говорились.

– Иди тогда к маме, – сердито сказал отец.

Мальчик сорвался с места, но не пошел в комнаты, а насильственно прыгая, ринулся в сад, в темнеющую березовую аллею.

– Однако с норовом мальчишка! – проворчал Алексей Алексеевич. – Пессимист, и непонятности какие-то в нем.

Литга, все время молчавшая, поднялась со стула и пошла в сад, за Витей. Проходя, бросила короткий взгляд на Сменцева, усмехнулась:

– Не любит он таки вас, непонятный этот пессимист.

И прошла в глубь сада, под березы. Роман Иванович слышал ее тихие слова, пожал плечами, точно Витя, улыбнулся. «Не любит!» Глупенькая, злая, упрямая девочка. Много ты понимаешь.

Глава третья

К жениху-богомольцу

Наверху, в своей просторной белой комнате, кругловатой (потому что в башне), сидит за столом Литта и пишет письмо.

Белые шторы не спущены. Одно окно совсем раскрыто. Сырая, светло-серая северная ночь за окном. Внизу в просвете между березами уже краснеет тонкая полоска неба.

Литта пишет письмо не на листке почтовой бумаги, а в толстой синей тетрадке. В начале тетрадки несколько страниц оторвано.

«Милый мой, вот и второе письмо пишу тебе. То, первое, я уже вырвала из тетрадки и уничтожила; я уже отлично знаю его наизусть. Ты все удивляешься странностям моей памяти; а я рада, что такая зубрилка. Могу писать тебе под свежими впечатлениями и притом знать, что ты письмо непременно прочтешь, хотя пишу в России, никуда не пошлю, через день сожгу. Верно и надежно перевезу через границу – в своей памяти, забуду разве тогда, когда слово в слово отдам тетрадочке, такой же, как эта, но ее уже ты прочтешь. Рада, рада, что так запоминаю написанное, что могу поэтому каждый день с тобою беседовать. После не рассказала бы так.

Прошлое письмо мое было довольно дикое, признаюсь: но уж очень меня обрадовала русская деревня. Я ведь ее никогда, настоящую, не знала. Чудится мне, что и тут не все настоящее, дом какой-то ни на что не похожий, и Хованские оба – горожане, всему чужие; но ведь озеро-то и березки – они настоящие, и сирень, и болотца... Особенно болотца эти я полюбила. Я писала о них, о березках, и радовалась, что могу писать, не опечалю тебя: ведь и ты сейчас в той же России, те же луга и цветы видишь. А теперь мне уже стыдно моего восторга; и больно. Стыдно, что ведь это все в громадной степени – эстетика барышни, которая в восемнадцать лет, после петербургских дач, наконец, очутилась „в сердце России“, где, во-первых, все так неожиданно, а во-вторых, должно быть любимым, – как же? родное. Цветочки, ручеечки... а ведь я каждого мужика, если увижу издали, на дороге, когда одна гуляю, – боюсь: вдруг – пьяный? И постоянно пьяный. Бегу мимо, не глядя, с отвращением; что он говорит – не понимаю, не хочу понимать, хорошее ли, дурное ли, – все мне одинаково чуждо, не нужно. Вот я какая. Надо, чтобы ты это знал про меня. Я барышня. Много ли стоят мои умиления перед осинками да болотцами?

Еще я тебе признаюсь: опять приполз ко мне тот страх, – за тебя. Нет-нет и взглянет желтыми глазами. У страха именно желтые глаза.

Ночью просыпаюсь и дрожу: ты – в России! Милая, страшная, невинная, укрой, ухрани, защити его... но от кого? От себя же. Нет, нет, „они“ – не „она“, это я твердо знаю, чувствую насквозь. Я молюсь, я вспоминаю, почему и как решил ты провести это лето в России, – и мне легче, страх закрывает глаза.

Где ты сейчас? Поздно. Может быть, спишь на сеновале с другими богомольцами, положив голову на котомку. Я даже не знаю, как тебя зовут, Семен или Игнат, не знаю, какой у тебя паспорт. С худым ты не пойдешь, тут я спокойна.

Михаил, ведь это счастье же, что ты можешь так, три месяца проходить с котомкой среди неизвестных, родных и чужих, грубых и мудрых людей, идти

рядом, идти как они, слушать их молча, только слушать. Это не дело, ты прав, это лишь малая крупица в деле твоего личного приготовления к делу, но как я понимаю, что это нужно»...

Она остановилась, задумалась нечаянно, с пером в руке. Вспомнила, что он не любит долгих рассуждений, возвращений к решенному, сделанному. Для кого же она пишет? Для себя? Не письмо выходит, – дневник. Бесцельный.

Как просто разговаривали они в ее высокой парижской комнате об этом простом плане. Пойти походить с «народом» несколько месяцев, посмотреть на этот народ с новой стороны, с той, с которой никогда еще ни Михаил, ни «товарищи» его, давние и недавние, не смотрели. Смотреть, а самому непременно всегда молчать; и от выводов даже остерегаться, – ведь он, Михаил, тут новичок, не знающий... Так, кое-что в свою памятку записать.

Дело маленькое, узкое, личное. Михаил еще сузил его намеренно, он не пойдет к сектантам. Не хочет сейчас. Литту это успокаивало. Опасности меньше. Но опасность все-таки большая. Ведь Михаил-странник в России должен так же скрываться как Михаил-революционер.

Литта невольно улыбнулась. Нелегальный богомолец. Нет, все-таки нечего ей бояться. Старый опыт поможет Михаилу.

Красная полоска внизу, на востоке, чуть просвечивала теперь, залитая мягким, вдруг наплывшим и все наплывающим туманом. Какой страшный. Затворить, что ли, окно? Нет, пусть его. Литте даже интересно, дотянется ли он до самого дома и как полезет в окно.

«...не о том хотела я писать тебе. А как живу здесь, кого вижу. Тетя Катя и Алексей Алексеевич, в сущности, мало интересны: Катя, что называется, „славная“. А Хованский – „бедный“. Он не глуп, и все у него есть, вот уж не обижен! Однако „бедный“. Никакого упора жизни. Сменцев советовал ему влюбиться... трагически как-нибудь. Да, Сменцев; вот еще человек, которого я постоянно вижу, болтаю с ним, гуляю; и, вообрази, совсем не знаю. Я писала тебе, что с первого взгляда он мне скорее не понравился: беспокоит что-то в его лице. Теперь я привыкла, но все же с ним беспокойно. Иногда кажется, что ему надо сказать очень важное, ждешь (хотя что?), а он говорит пустяки. Но так говорит, будто нарочно. Зачем он живет у Хованских – не понимаю. Катю он мало замечает, а к Алексею Алексеевичу относится с пренебрежительным, хотя и дружеским сожалением».

Опять остановилась. Мелькнуло воспоминание о грозе, о тех странных словах Сменцева, которые почудились ей в волне ветра. Господи, какая чепуха. И как это не забылось.

«Он, кажется, человек с характером, – продолжала она. – Это ведь чувствуется. То, что о нем рассказывал Алексей Алексеевич, мне нравится. Восемнадцати лет разорвал с теткой, у которой воспитывался (он внук декабриста, барона Розена; оттого, кажется, и фамилия у него такая нарочная, выдуманная). Сам, один, прожил; сначала в ссылке, потом в германский университет поехал. Вернулся – и еще год в духовной академии вольнослушателем пробыл. Вот это обстоятельство, да еще то, что он у моей знаменитой бабушки-графини в салоне бывает, довольно непонятно и подозрительно. Главное – не подходить к нему. Представь, ведь он теткинским наследством не пользуется; он там, в ее имении, устроил...»

Литта очень устала. Перо вываливалось у нее из рук. Распущенные волосы, пышные, бледные, не очень длинные, лезли на глаза. Хотелось спать. Вытянувшееся личико побледнело. Литта – хорошенькая девушка. На узеньком подбородке у нее глубокая ямочка, детская. Но глаза совсем не детские, взрослые, печальные, упрямые.

Теперь так хочется спать, ресницы щурятся.

«Я потом, завтра, допишу тебе это письмо...»

И вот пышная головка уже лежит на столе, пряди волос упали на тетрадку. Литта спит. А в открытое, мертвое окно лезут длинные струйки тумана, тянутся серые лапки. Их почти нет, и все-таки они есть, тянутся явственно, лезут в окно и, втянувшись в комнату, совсем делаются невидимыми. Но они, лапки серые, цепкие, мокрые, – тут. И все новые тянутся в окно, тонкие, длинные, от самого озера болотного – до окна, до стола, до пышных волос, упавших на тетрадку.

Литта устала. Литта спит.

Глава четвертая

Враг или друг?

Петеньку называют «блаженным», а он только одинокий, болезненный и тихий парень. Живет в избушке под лесной горой, молчит. Грибы ходит собирать. Ничего не работает. На горке часовня крохотная, темная, серая. Считается, что Петенька за часовней глядит, – ну, и блаженный. За хлебом на деревню, а теперь и в дачу приходит.

– Вы разве тут никогда не были? – спрашивает Роман Иванович Литту, пробираясь с ней через ветки и валежник к Петенькину жилью.

– У часовни была... А здесь нет.

В избушку, желтую на солнце, дверка прорублена, вместо лестницы – два чурбаша, а окон не видно. Литта удивляется.

– Да ему там темно.

– Зачем! На той стороне есть окошечко. Так зимой теплее. А летом вон он на солнышке у стенки сидит.

Петенька, точно, сидел у стенки; безбородое серое лицо его равнодушно было обращено к солнцу.

– Здравствуй, Петя. Мы тебя проведать пришли.

Узнав Сменцева, Петенька вскочил и низко-пренизко поклонился ему. На Литту не обратил ни малейшего внимания. А с Романа Ивановича не сводил глаз и нет-нет – опять поклонился.

Сели. Сменцев ласково заговорил с Петенькой. И тот отвечал, толково, чуть заикаясь, благоговейно. Это благоговение неприятно удивляло Литту.

– Грибков принесу... тебе, – сказал Петенька. – Не взрослые... да пошарю. Кушай... во спасенье, во мое. Тебе.

– Спасибо. Ты корзинку мне сплети. Поучись, дай труд.

– Поучусь, – покорно отозвался Петенька. – Ты говори, что надо. То и буду делать.

Около лесу показалась какая-то баба. Приглядевшись, повернула к ним и запричитала издали:

– Барин-то, барин, здравствуй, солнышко ты мое меженное, солнышко красное, прекрасное, головушка золотая, барин любезенький...

Петенька неожиданно вскочил и сурово замычал на нее, размахивая дубинкой.

– Чего ты, Петруша? – безбоязненно сказала баба. – Я только поклониться. Твой гость. Я рази что.

– А я, было, Домна, тебя и не узнал. Богатой быть, – весело говорил Сменцев.

Подойдя, баба вежливо поклонилась и Литте, но тотчас же опять обратилась к Роману Ивановичу и глядела на него, сияя всеми своими коричневыми морщинами, так же неотрывно, как Петенька.

– Положительно оба эти влюблены в вас, – с усмешкой сказала Литта, когда они уже шли верхним лесом, прочь от Петенькиной избушки. Лес был мшистый, сыроватый, темный, но тропа широкая.

– Это все приятели мои, – отозвался Сменцев. – У меня их много. Всякий народ есть.

Литте почему-то было невесело. В сущности и Петенька ей не нравился, и чувствовалась даже неприязнь ко всему, ко всем «приятелям» Сменцева и к нему самому. Неприязнь и чуждость.

– Юлитта Николаевна, вы не устали? Вам Петенька надоел?

Литта вспыхнула.

– Почему надоел? Я только не понимаю, что в нем любопытного.

– Да ничего. Разве вы из любопытства к нему в гости шли?

Ей почудилась насмешка. Захотелось сказать многое, захотелось резкости. Но не могла найти слов, все было смутно, неопределенно.

Сменцев остановился.

– Сядем, вот сосна хорошо лежит, сядем, – произнес он так серьезно и так настойчиво, что девушка в ту же минуту повиновалась.

Роман Иванович снял фуражку и провел рукой по волосам. Они у него были коротко острижены, но все-таки упруго курчавились и спереди вставали жестким, темным хохлом. Солнце сквозь колеблющиеся тихо листья пятнами падало на смуглое неправильное лицо, и лицо от этих колебаний казалось еще беспокойнее.

– Юлитта Николаевна, я хотел с вами поговорить о Ржевском. Я хочу его видеть.

Литта задержала дыхание. Но тотчас же спокойным, очень спокойным голосом сказала:

– Какой Ржевский?

– Ржевский, Михаил. Вы же знаете. Я все равно его увижу, у меня есть свои возможности. Но не хотелось бы помимо вас. Он теперь в Париже?

Литта молча поднялась, бледная. Не было сил произнести ни одного слова. Не было, кажется, ни одной ясной мысли в голове.

Сменцев глядел на нее снизу вверх, спокойно и усмехался, чуть скривив яркие губы.

– Подождите, не спешите. Я вас взволновал. Виноват. Вечная моя вина, – иду к делу без вступительных слов.

Литта молчала, но не двигалась с места.

– Я ищу союзников, – продолжал Сменцев. – Помощников у меня много, а вот союзников пока нет. Я слышал о Ржевском. Хочу попытаться, не найду ли около него союзников. Не найду ли и в вас союзницы...

– Ваших дел я не знаю, – произнесла Литта, с трудом разомкнув губы. – Вас я не знаю. И что вы говорите, о ком и о чем, не понимаю.

– Хорошо, сядьте же. Ведь это в трех словах объяснить можно.

– Нет. Я иду домой. Оставьте меня. Оставьте! Чего вы от меня хотите? Я не желаю с вами разговаривать. Не желаю ничего знать.

В нелепой, необъяснимой истерике она двинулась, было, от него. Но он цепко, твердо схватил ее за руку и произнес холодно:

– Куда вы? Что с вами? Придите в себя. Ведь если я враг, то вы ведете себя уж совсем непозволительно.

Литта с отчаянием подумала, что он прав. И ослабела вся, не противилась больше ни его взгляду, ни его прикосновению, покорно опустила опять рядом, на сломанную сосну.

Молчание.

Потом Сменцев тихо произнес:

– Я не враг, Юлитта Николаевна. Я, может быть, ближе вам, чем сам это думаю. Мне хотелось, чтобы вы поняли это раньше доказательств, раньше представления рекомендаций. Но вы слишком напуганы. Так вот: о Ржевском, да и о вас мы говорили много с Сергеем.

Литта не подняла головы. Потом пролепетала неслышно:

– Как я могу верить?

Сменцев пожал плечами, нехотя полез в карман, достал из бумажника узко сложенное письмо и протянул ей.

– Вы почерк Сергея знаете?

Дрожь солнечных бликов по бумаге, по знакомым крупным и кривым буквам.

«Друг Роман Иванович, видно уж до осени не свидимся, коли завтра едешь. Приходи осенью, потолкуем. Дидко по осени обещался быть, хоть ненадолго. А милой-то нашей крепко от меня кланяйся, куда едешь. Познакомишься, сам поклонись. Ну, значит, до свидания пока от Сергеича».

Литта, прочитав, молча отдала письмо. Его тотчас же Сменцев сжег на спичке, – не без торжественности: больше, мол, не нужно. А, в сущности, можно бы и не торопиться сжигать: письмо самое безобидное, да и Сергей Сергеевич не опасный человек, – петербургский мастеровой, последнее время ни в чем не замеченный. Года два тому назад он жил вместе со старым одним профессором и с его больным племянником; кое-кто называл эту странную семью «троебратством». Но теперь и «троебратства» уже больше не существовало.

– Вы давно Сергея знаете? – спросила наконец Литта.

– Подружился не так давно; а знаю много лет... И с Дидимом Ивановичем, со стариком, раза два встречался. Хочу как следует с ним теперь повидаться. Хотя...

Он не договорил, быстро взглянул на Литту и прибавил тише:

– Юлитта Николаевна, да ведь я и с вашим покойным братом встречался. Он меня очень интересовал. Никогда я не думал, что он кончит трагически. Не шло к нему.

– Случайность... ужасная, – проговорила девушка, едва двигая побелевшими губами. – Мне тяжело вспоминать это... Но вы... вы что знаете? Считается не открытым, кто убил его тогда ночью в пустой финляндской даче... А что говорят – вздор, неправда.

– Говорят, что его убил Ржевский... Но, конечно, это вздор. Ясно, что вздор.

– Да, да. Убийца – несчастный, подговоренный негодяем. Больной, безумный... Он и умер в больнице... А нарочно говорят... И многие верят. Вот, бабушка моя, графиня... Вы ее знаете. Она уверена, что Юрия заманили в Красный домик и убили «революционеры». Зачем, о Господи!.. И о Ржевском она тоже... В чем уверилась, – кончено. С тех пор стала совсем иная. Жестокая она и сильная. Отца моего вовлекла туда же. Окружила себя...

Литта вдруг оборвала:

– Да вы знаете, кем. Вы ведь, в ее салоне – гость нередкий.

– Знаю... – задумчиво сказал Сменцев. – Это целый мир. Графини и ее присных жаль было бы не видеть.

– Делаете наблюдения? – неприятно усмехнувшись, спросила Литта.

– Нет. Я не наблюдатель. Созерцаниями заниматься некогда. Если вы мне не доверяете, – так тому и быть. Но все же лгать не буду. Я ищу себе союзников, говорю вам. Для этого надо видеть всех, чтобы потом выбрать.

Литта встала.

– Пойдемте. Что мне доверять – не доверять. По-прежнему я вас не понимаю. Там – союзников! Если гости графини могут быть вашими союзниками...

– Могут, – твердо и открыто сказал Сменцев... – Все могут, если я захочу. Последнее слово, подождите...

Он тоже встал. Солнце закрылось набежавшим облаком. Лес потемнел, посерел, притих. Прямо в глаза Литте глядели неблестевшие глаза под выгнутыми, точно нарисованными бровями.

– Чего вы желали бы, к чему Ржевский пришел, о чем Сергей мечтает, – того хочу и я. Должно создаться новое движение. Более широкое, с иными основами, с иными горизонтами. Но для этого надо считаться с существующими силами и пользоваться ими. Довольно романтических утопий да эмигрантских мечтаний. Что есть, то есть.

Он сдвинул брови и прибавил, ближе наклонившись к ней:

– Над созданием такого движения я работаю. И я – сделаю.

Это шепотное, но ясное «сделаю» прикрыло Литту душным туманом. Ей казалось теперь, что она Сменцеву и верит до конца и в то же самое время до конца не верит. Захотелось быть далеко от него, забыть его, чтобы вовсе не было его, – но и странно влекло ему покориться, согласиться с ним в чем-то совсем, и пусть все сбудется, чего он хочет.

– А теперь пойдете, – произнес Роман Иванович громко, почти весело. – Мы к обеду опоздали. И ведь это длинный разговор. Сразу всего не скажешь. Еще не раз к делу вернемся.

В тот вечер долго сидела Литта над своей тетрадкой. Писала, думала, опять писала... Но кончила тем, что под утро все листы разорвала. Не надо. И запоминать этого не надо. Ничего не выходит. Ничего не вышло. Не надо.

Глава пятая

Мудрый обман

Роман Сменцев крепок и вынослив. Сложение – как у юного богатыря. Но когда-то, при ужасных условиях, он перенес тиф, который оставил ему расстройство в печени. Слабое, потому что лишь изредка возвращалась глухая боль в боку, но Сменцев нетерпелив и раздражается от всякой боли.

Никто не знает этого. Он всегда одинаково ровен с людьми, скорее весел, и почти незаметна желтизна его смуглого лица. Но у себя в комнате, один, – он порою киснет, капризничает, злится, красивые брови его не хмурятся, а жалобно кривятся. Боль не такая, чтобы нельзя было заснуть, но он нарочно не засыпает; есть что-то и в боли, и в этом его одиноком тайном раздражении, в капризах наедине с собою, ему сладкое.

Может быть, нравится уверенность, что войди кто-нибудь, понадобится что-нибудь сейчас, – и Роман Иванович преобразится во мгновение ока: точно ни боли, ни раздражения, ни слабости никогда не бывало, да и не могло быть. Наедине с собою он позволял себе все. Все, кроме обмана. Такое у него правило. Без мудрого, постоянного обмана всех, с кем соприкасаешься, нельзя жить, нельзя сделать с людьми ничего. Не ложь, – ложь большею частью глупа, – а именно мудрый обман. Но зато надо уметь никогда не обманывать себя; больше – позволять себе все перед собою. И Роман Иванович любил как холодную ясность мыслей своих тайных, так и отдыхи свои, слабости свои, – их не подглядит чужой взор.

Сменцев был очень недоволен разговором с Литтой, нелепым и, главное, незаконченным; кое-что сделано, однако можно бы сделать больше и лучше. Неужели оттого не вышло, что ему уже несколько дней нездоровится и внутреннее раздражение сказалось в резкости слов? Надо принять меры. Во всяком случае после вчерашнего надо переждать несколько дней. Девочка нервная, но крепкая и, кажется, вымуштрованная. Вот с ней – ложь никуда бы уж не годилась. Он и не лгал ей, как никому, впрочем.

Из окна его комнаты видна узкая, мшистая дорога, прямо бегущая вдаль между березами и елями. Теперь на нее ложилось полосами низкое, желтое солнце.

Комната Сменцева – наверху, недалеко от Литгиной, но обращенная в другую сторону. И не круглая, а вся какая-то кривая, с острыми и длинными углами. Такая удалась, благодаря фантазии Хованского.

Сменцеву она нравится. Нравится и кривизна ее, – и пустота: постель, белый комод, стол с ворохом бумаг, – ничего лишнего.

Бумаги – это постоянная работа Сменцева. Он, не торопясь, пишет очень серьезное историческое исследование, немножко чересчур серьезное, почти сухое. Целая книга. Отдельными кусками она уже появлялась в научном журнале. Сменцев относится к этому своему делу добросовестно и доброжелательно. Считает гигиеничным иметь такое приятное и отвлекающее упражнение для мысли.

Чуть слышно, жалобно зазвякали бубенчики. Вот слышнее, связнее, ближе. Кто-то едет со станции.

Роман Иванович взглянул в окно, на дорогу. Но никого еще не было видно.

«Ах, да! – вспомнил он вдруг. – Это ведь прекрасный журналист наш катит».

Алексей Алексеевич нынче распорядился послать лошадей на станцию за своим приятелем Звягинцевым.

В конце прямой солнечной дороги показался тарантас. Острые глаза Романа Ивановича различили тотчас же представительную фигуру Звягинцева. Растрясло, видно. Сбочился, и

глупый котелок свой придерживает. Но кто рядом? Шляпка чья-то. И тоже набок съезжает. Под сбитой шляпкой вдруг сверкнули на солнце огненные волосы.

Не может быть! Но тарантас уже совсем близко. Уже совсем ясно видно Звягинцева. А рядом с ним – Габриэль.

Роман Иванович нахмурился. Этого еще не хватало! Габриэль! Ну, сам виноват. Нашел, кому доверить свой адрес.

Все его раздраженье направилось теперь на Габриэль. Прогнать, что ли, ее поскорее? Да этим не поможешь. Своевольная дура. Постой же.

Глава шестая

Мужичий университет

В громадных сенях, вышиною во всю Стройку, уже столпились и гости и хозяева.

Снимая пальто, Звягинцев что-то весело объяснял и смеялся тенорком; тенорок мало подходил к его крупной фигуре и мягко-барственным движениям.

Рыжая девушка в белой шляпке, коротконогая, миловидная, стояла тут же.

Выяснилось, что Звягинцев заметил ее на станции, мечущуюся, пристающую ко всем с расспросами, как попасть на Стройку. Ну, он и довез ее.

– Я сейчас же обратно, – смущенно зачастила девушка. – Сейчас же. Я к Роману Ивановичу Сменцеву. По нужному делу. Извините, что так, незнакомая... Я сейчас же...

– Да полноте, куда обратно! – приветливо остановила ее Катерина Павловна. – Раздевайтесь, обедать будем. Нынче и поезда уже нет. Снимайте шляпку.

Сменцев наблюдал эту сцену с верхней площадки. Не торопился к приезжей.

К обеду вышел на террасу. Рыжая Габриэль уже весело болтала с кем-то, освоившись. Но так и бросилась к Сменцеву.

– Ах, Роман Иванович. Вот наконец! Я так внезапно... Такое дело...

Сменцев посмотрел на нее холодно и жестко. Молча отошел к сторонке; она, уже робко, осекшись, последовала за ним.

– Роман Иванович, я сочла нужным...

– Напрасно. Я вам не давал инструкций ездить за мной.

– Роман Иванович, но вы просили сохранять вашу корреспонденцию... И вот пришло письмо из Луги. Я знаю, вы ждали письма из Луги. И вот я думала... свезти вам и тотчас же назад...

Опять осеклась под недвижным взглядом Сменцева.

– Вы не смели делать того, что я вам не приказывал, – медленно и отдельно проговорил он. – Не смели.

– Роман Иванович... Да, я понимаю. Я опрометчиво... Больше никогда, Роман Иванович... Молю вас...

– Где письмо?

Она заторопилась, стала рыться в сумочке, что-то выронила из нее, подняла, наконец отыскала смятое письмо и протянула Сменцеву.

Взял, не глядя сунул в карман.

– Вот что, Габриэль. Завтра утром я уезжаю. А вы потрудитесь остаться здесь, уедете тотчас же после моего возвращения. Поняли?

Она открыла рот, но от ужаса ничего не сказала. Вот так попалась!

Сменцев чувствовал, что зол до последней степени. У него даже угол рта дергался. Не стоило, конечно, злиться на эту дуру, да еще из-за пустяка. Пустяк – но не пустяк самоволие. Следует его прекратить.

Сели обедать. Габриэль, после выговора, сначала замолкла. Но потом, не видя Сменцева, – он поместился вдалеке, заслоненный Катериной Павловной, Литтой и букетом длинных колокольчиков, – охотно сообщила, что она кончила педагогические курсы и уже полтора года учительницей в школе за Невской заставой.

– Там и квартиру нам дают, мне и подруге. Очень мило. Далеко только. Но зимой ближе, по кладкам, по кладкам, а потом на паровой. Дети милые, – фабричные... Летом свободно. Как бы я хотела путешествовать! Да не удастся...

Внезапно перескочила на другое:

– Меня, собственно, уж не Габриэль зовут, это так, привычка у всех... Я семнадцати лет перешла в православие, назвали Аделаидой... Родители мои тогда тоже перешли в православие, они французы, только давно обрусевшие. С тех пор оба уж умерли, я одна, сама себе голова. И всегда я чувствовала себя такой русской...

– Зачем же, однако, в православие перешли? – спросил с интересом Звягинцев.

– Ну, во-первых, родители... Да и я тогда так увлекалась, так увлекалась. Много было побудительных причин. Боже мой, я опомниться не могу: неужели я в русской деревне. В Новгородской губернии? Какая тишина! А что это музыка? Поют...

– Нынче праздник, – сказала, усмехаясь, Катя. – За озером по дороге, верно, гуляют. С гармоникой.

– Правда? Ах, если б пойти!

– Какая вы, однако, деточка, – добродушно сказал Алексей Алексеевич. – Поживите у нас, полюбуйте Россию.

Габриэль смутилась, вдруг сделалась серьезна. Да, пожить придется. Вспомнила встречу Романа Ивановича. И чего она разболталась. Ведь он это все слушает.

– У меня дела, – степенно проговорила она. – Но на несколько дней, если позволите, я бы осталась.

Литга молча приглядывалась к странной девице. Впрочем, что же в ней странного. Такие бывают, курсистки, учительницы... Немного невзрослые.

В Габриэль, действительно, было что-то невзрослое; и однако, немного спустя, она вмешалась в довольно серьезный разговор Звягинцева и Алексея Алексеевича, притом вмешалась кстати и не глупо. Видно, много читала, не без толку.

Журналист Звягинцев, полный, приятно-мягкий, с длинными выхоленными черными усами, держался культурно-демократических взглядов и считал себя левым. Специальности он не имел, но ничто не было ему чуждо. Интересовался даже церковными вопросами, толковал о них постоянно, и все с той же высоко-культурной точки зрения. Он и говорил, большею частью, о культуре вообще, и о культуре русской, от него и самого веяло культурой, несло культурой, – порою даже с неуловимым оттенком барственности. Этого он, конечно, не замечал и огорчился бы, если б заметил.

Теперь ему хотелось вовлечь в разговор Сменцева, но тот пока отмалчивался.

За кофе Звягинцев, вкусно курая бледную сигару, прямо обратился к Сменцеву:

– А скажите, как теперь дела в Пчелином у вас? Толкуем о народном образовании... Ваше дело, вот это, во многих пунктах мне представлялось неясным... Превосходное дело, но вопрос, как оно поставлено и что из него в конце концов выйдет...

– Вы говорите о моем «мужичьем университете»? – усмехнувшись правым углом рта, спросил Сменцев.

– Да, именно так мне его называли. Подробностей совсем не знаю, но чрезвычайно интересовался.

Роман Иванович пожал плечами.

– Я не придаю этому делу никакой особенной важности. И оно очень просто. По наследству мне досталось порядочное имение на юге Воронежской губернии. Я сдал всю землю мужикам в аренду на самых льготных условиях. Оставил только небольшой дом, где у меня живет управляющий и где устроена школа. Это школа для вечерних занятий со взрослыми. Учителствует – тот же управляющий, он мой близкий друг, молодой техник, с высшим образованием, да кроме того ездит батюшка из соседнего села, из-за речки. Приятель мой читает мужикам и курсы по земледелию, кажется, успешно...

– Скажите! – восхищенно протянул Звягинцев. – Просто чудо, что такое. Но как вам разрешили? И посещается эта школа?

– Отчего же ей не посещаться. Она ведь не весь год сплошь функционирует. Кроме того, слушатели – те же мужики, выгодно арендующие у меня землю. Арендная плата идет на школу, на жалованье священнику и дьякону. Приятель мой работает «идейно». Имеет свои средства. Что же касается разрешения...

– Ну, да у вас, конечно, есть свои ходы в Петербурге... – подмигнул Звягинцев.

Но Роман Иванович закончил сухо:

– Наша программа очень скромна, да и это считается просто частным «чтением». Местный священник на прекрасном счету...

– Ах, сколько бы можно сделать, если б не ускромнения, да неразрешения! – мечтательно потянулся Звягинцев. – Но и за то вам спасибо. Не любят у нас нынче малых дел.

– Однако, – прибавил он, помолчав, – это вы мне дали сведения формальные. А дух каков у вас там? Уклон?

Роман Иванович рассмеялся.

– Дух самый хороший.

– Нет, позвольте, – пристал Звягинцев. – Что значит «хороший»? Это весьма двусмысленно.

Алексей Алексеевич вмешался.

– Ну, вы от него тут ничего не добьетесь. Кто их разберет. С одной стороны – приятель мой Роман Иванович, в коем подозреваю дух мятежный, с другой – «священник на прекрасном счету»... Вот и пойми, что у них такое затеяно.

– Какой же тип, однако, этот священник? – настаивал Звягинцев. – Ведь не союзник же все-таки? И какие он лекции у вас читает? Неужели лекции?

– Право, не умею вам ничего сказать, – холодно проговорил Сменцев. – Мне не случилось присутствовать. Батюшка и занят, и не очень здоров, часто его заменяет дьякон, того же прихода. У нас это условлено.

Звягинцев задумчиво повторил, дымя сигарой:

– Да, дьякон... Дьякон... Так. Иногда попадают дьяконы, особенно из молодых, гораздо образованнее местных старых священников... Да. А кто у вас там епархиальный?

– Преосвященный Феодосий. Он мне знаком лично.

– Лично? Ах, вы у него бывали?

– Нет.

– Нет? Так, верно, по академии. Или...

Тут деликатный Звягинцев оглянулся. На террасе никого не было. Только Хованский, лениво прислушивающийся к разговору. Катерина Павловна увела куда-то Габриэль, должно быть, устраивать; Литта, которую Звягинцев только что видел, исчезла неслышно.

– Вы, я думаю, со всеми нашими заметными иерархами сталкиваетесь у этой... у сиятельной бабушки Юлитты Николаевны? Прелюбопытный салон. Я и рад бы в рай – очень этим миром интересуюсь, – да грехи не пускают! – закончил он с комическим вздохом.

Хованский пожал плечами.

– Вот нашел! Скука и ханжество, я думаю. Непостижимая старуха. Я ожидал, что она в теософию ударится, ну туда-сюда. Так нет, за православие схватилась. У нее и епископы, и архиепископы, и монахи, и прорицатели... Федька Растекай, говорят, бывает.

– Федька? Растекай? – заволновался Звягинцев. – Правда, Роман Иванович?

– Да. Я его там видел раза два. А ты напрасно, Алексей, удивляешься, что графиня не пошла в теософию. Ей там нечего делать, а не делать не в ее характере. И ханжества в ней капли нет. Разве когда нужно, – показное. Вот зять ее, старик Двоекуров, тот не прочь поханжить... Да графиня над ним власть забрала полную.

– Уди-вительно! – начал было что-то Звягинцев, но в эту минуту на террасу вошли Габриэль и Литта. Габриэль была уже в каком-то беленьком платочке на рыжих волосах.

– Мы идем на озеро, где поют, где гармоника, – восхищенно объявила она. – Юлитта Николаевна согласилась.

Хованский взглянул на них с удивлением.

– Да что вы! Ведь там пьяным-пьяно. Безумие. Теперь шагу вам одним за усадьбу выйти нельзя.

– Я с удовольствием пойду тоже, – сказал Звягинцев. – Охотно буду защищать барышень от дикарей... ежели таковые встретятся...

– С непривычки испугаетесь, – заметил Хованский. Но Звягинцеву загорелось идти.

– Роман Иванович, да пойдете тоже с нами. Хозяин мне барышень не доверяет.

– Пожалуй, пойдете, – сказал Сменцев. – Мало удовольствия получите. Далеко, и дорога пыльная. А дикари... как вы называете, – что их наблюдениями тревожить, они веселятся. Пойдете, впрочем.

И он вышел за фуражкой.

Глава седьмая

Мужичий бал

Дорога, точно, пыльная. В дождь тут грязь по щиколотку. Народ попадался редко. Только за полуразваленным черным мостом, ближе к деревне, подвывающие тоны гармоники стали явственнее.

– Ах, что это они играют? Что поют? Это они в деревне, значит? Может, хороводы водят? – волновалась легкомысленная Габриэль.

– Хороводов нет. Советую вам успокоиться, – оборвал ее Сменцев, впрочем, не резко.

Встретилась пожилая баба с девчонкой. Спешливо месила пыль босыми ногами, сапоги, громадные, тащила в руках. Подоткнула подол «хорошего» платья.

– Ты с праздника, Авдотья? – спросил ее Роман Иванович, когда она ему низко, «в особину», поклонилась. – С гостинцами?

Баба тотчас же радостно рассыпалась подробными, малопонятными для всех, кроме Сменцева, рассказами, торопливо стала разворачивать смятый платок.

– Пирожка несу. Пирожка не отведаете ли? Пирог-то хороший, с ягодами.

Звягинцев и барышни не знали, как будет тактичнее: отказаться или взять у бабы кусок белой, толстой непропеченной булки, из которой, в разломе, торчали две бледные изюмины.

– Спасибо, Авдотьюшка, мы сыты, спасибо, – сказал Сменцев. – Неси гостинцы-то, дома, чай, рты найдутся. Да поторапливайся до ночи, путь не близкий.

Баба весело завернула опять свой пирог, распрощалась, накланявшись, и ушла.

– Боже мой! – взвизгнула вдруг Габриэль. – Боже мой! Мертвый!

В сухой канаве около дороги, под кустарником, лежал вверх пузом матерый мужик. Борода с проседью, а лицо багровое, в фиолетовый цвет даже ударяло.

Над мертвецом наклонились.

– Он дышит, – сказал Звягинцев. – Я боюсь, что это просто пьяный.

Сменцев нетерпеливо засмеялся.

– Да и бояться нечего, напился и спит, ведь ясно же. Оставьте его. Не беспокойте.

Пошли. Габриэль вздыхала.

– Какой ужас! А я думала – убитый...

Куча девок в ярких кофтах, сшитых чуть не «по-модному», показалась на краю дороги. Девки по временам однообразно визжали какую-то песню, замолкая враз. Три парня шли за ними, шли не очень твердо, и тоже тянули свое. Один подыгрывал на гармонике.

Остановились. Девки расселись на пригорке, за канавой.

– Что это они поют? – заинтересовался Звягинцев. – Подойдем – перестанут, жаль.

Но веселые поселяне, видимо, не смущались. Частили себе свое и, кажется, одно и то же. Вот и слова уж можно разобрать:

Ты, сударушка, ништо,
Меня били ни за што,
Меня били не гораз,
В леву щеку восемь раз...

– Ах ты, Господи, – простонала Габриэль, – ах, что они поют, что поют!..

А песня весело продолжалась:

Меня били, колотили

В три кнута, четыре гири...

И еще веселее подстегивала ее скрипучая икота гармоники.

– Роману Ивановичу наше с кисточкой! – заорал один из парней, когда компания господ, невольно ускоряя шаги, проходила мимо. – А мы, значит, гуляем. По-хорошему нынче гуляем, не то чтобы что. По всей деликатности.

Проходил я верхом, низом,
У милашки дом с карнизом...

Другой парень, с гармоникой, подхватил и, кажется, некстати:

Я под лесенкой лежал,
Кверху ножичек держал...

Господа уже отошли, а все за ними неслась, прискакивая на тот же лад, гармоника и слова последней песни:

Я, мальчишечка, башка,
Не хожу без камушка,
Меня в Сибири дожидают,
Шьют рубаху из мешка.

– Ну и глупые песни, нескладные, глупые, гадкие, – обиженно шептала Габриэль, не смея почему-то сказать этого громко.

Роман Иванович предложил идти домой в обход. Предложил очень решительно. Поздно, солнце уже закатилось, да ему и некогда.

– Право, ничего здесь достойного ваших наблюдений не увидите, – сказал он Звягинцеву со своей чуть презрительной улыбочкой. – Лучше я вас полями к дому проведу.

Собрались повернуть. Но откуда-то сразу, из-под спуска вероятно, на дорогу вынырнула кучка сильно пьяных мужиков, бородатых, уже не парней. Они шли по дороге вразброд, покачиваясь, и потому их казалось очень много. В золотистом вечернем свете, на зелено-золотистом поле, вырезывались они четко и темно. Что-то орали, но, подойдя вплотную, замолкли и приостановились.

Вдруг один, взглядевшись, со стремительностью, с неожиданной порывностью кинулся в пыль, прямо в ноги Сменцеву. Размашисто перекрестившись, нырнул головой к земле и глухо завопил:

– Прости!

Звягинцев растерянно пятился к канавке, Габриэль цеплялась за него. Литта с любопытством глядела на Сменцева.

– Прости!

– Бог простит, – сказал Роман Иванович равнодушно и ясно.

Мужик поднял голову и, все еще стоя на коленях, опять перекрестился на Сменцева с умилением, как на икону.

– И Бог, и ты прости!

– И я прощу, – так же ровно отозвался Роман Иванович, не двигаясь.

Мужик с усилием поднялся на ноги.

– Ну то-то же. Слышали, ребята? Простил.

– Слышали, чего. Он простит. Встрелся, значит, к часу тебе, – нелепо гудели мужики.

– Душа-то одна, – совсем неожиданно заключил прощенный, ударил себя для чего-то по бокам, и все они гурьбой двинулись дальше.

Звягинцев и Габриэль были уже на боковой дорожке. Литта немного устала. Ее догнал Роман Иванович.

– Испугал вас Федор-кузнец, Юлитта Николаевна?

Она отрицательно качнула головой.

– Богомольный человек, о душе все думает, ну и пьяница здоровый, – продолжал Сменцев.

Литта подняла глаза и сказала со злой насмешливостью:

– Чего богомольнее! На вас крестится.

Но Сменцев точно не заметил насмешки.

– С пьяного что ж спрашивать? – произнес он спокойно и тотчас же прибавил, немного тише:

– Я завтра уезжаю, Юлитта Николаевна.

Она ничего не сказала.

– Вернусь через несколько дней, может быть, через неделю. Извиняюсь, что гостью мою здесь вам подкидываю. Да я уж говорил Алексею.

– Вы не с ней уезжаете, значит?

– Боже меня сохрани. Я ее не звал, за ее фантазии не отвечаю, да вы и сами видите, что с ней серьезных дел иметь нельзя. Останется здесь, так вы... если будете разговаривать...

– Что – я? – резко обернулась к нему Литта. – Что вы меня предупреждаете? Я не знаю ни ее, ни ваших дел, да, по правде сказать, и не желаю в них входить.

Она ускорила шаги, догоняя Звягинцева и Габриэль.

– Какая вы вспыльчивая, – говорил между тем Сменцев тихо, наклонившись к ней. – Рассудите, – увидите, что сердиться не на что. А я приеду, тогда как следует еще поговорим.

Добрели до дома уже почти ночью, в молчании. Даже Звягинцев как-то осел и сник. Ботинки, что ли, ноги натерли.

У самого крыльца Габриэль неловко отстала и обернулась к Сменцеву:

– Так, значит, мне здесь быть, Роман Иванович?

И тотчас же почувствовала, что опять провинилась, нечего переспрашивать раз сказанное. Залепетала, путаясь:

– Я понимаю, верно, письмо это... по письму... заставляет вас...

– Письма, вами привезенного, я еще не читал, – произнес холодно Сменцев. – Прекратим теперь это таинственное совещание.

Габриэль осталась одна у крыльца Стройки. Вплелась в сени, а потом пошла блуждать по незнакомым коридорам. В этом доме все сразу точно проваливались, никого не отыскать.

Глава восьмая

Отец Варсис

На пути к станции Роман Иванович прочел наконец привезенное ему письмо.

Ничего неотложного в нем не было. Был адрес, которого он ждал, за которым все равно приехал бы в Петербург, не теперь, так через неделю.

Ну, неважно. Имеет адрес – поедет теперь.

Солнце вечерним золотом обливало песок, серые сосенки и тес новеньких дачек, когда Сменцев в тот же день подъезжал к Луге. В Петербурге он не останавливался, только с вокзала на вокзал переехал.

Без багажа, в той же синей рубахе, с толстой палкой в руках он был похож на гуляющего дачника; шел себе, не торопясь, по улицам запыленного городка. Старался держаться левее. Миновал несколько песчаных, кривых улочек, полузастроенных дачами. Вот, должно быть, и старое шоссе.

Пыльное, широкое. Дач не видно, а в ряд идут темненькие старые городские домики. Внизу лавки кое-где, – хлебная торговля, железная...

«На углу лабаз, а за ним домик диконький, двухэтажный, вдовы Якимовой. Квартирка самая приличная, из залы балкончик, весьма чисто»... было написано в письме.

Лабаз – вот он. А вот и домик диконький.

Роман Иванович, стукнув калиткой, вошел во двор.

– Кого вам? Чего надо? – неприятливо крикнула подтыканная баба, занятая мытьем какой-то лоханки.

– Здравствуй, милая. Я к постояльцу вашему, в гости. Дома ль?

– К батюшке? – смягчилась баба. – Да никак их нету, на прогулку вышли, воздухом пользуются.

Подумав, прибавила совсем ласково:

– Да вы к хозяйке пройдите покуда, к Домне Васильевне. Чай в беседке, в саду, оне пьют. С ними и обождите. Проводить, что ль?

Через минуту Роман Иванович сидел уже со вдовой перед стаканом крепкого чаю.

– Так, так, – говорила степенная старуха, помахивая обвязанной темным платком головой. – Очень приятно. Я, извините, с первого началу об вас подумала – студент. Ну, да и то сказать, студенты разные бывают.

– Мы с отцом Варсисом вместе студентами были, духовными. Он, как нездешний, сразу постригся и во иереи. А я еще вот гожу.

– Так. В молодости-то трудно это снести. Подвиг-то велик.

Молчаливая старица, тут же сидевшая за столом, вздохнула.

– А уж как я рада, что постояльцу такому квартируку сдала, уж и не сказать. Я под дачу ее, каким-нибудь таким, не сдаю. Она у меня – архиерею жить не стыдно. И зальца, и спальня, все как должно. Келейника, вот, нет, да отец иеромонах все сам. А в отсутствие мать Матрения ходит, прибрать что. Странница она. Воздух же у нас вольный, – батюшка, отец Варсис, скоренько здоровьем поправится.

Из-за малинника показалась высокая, тонкая фигура монаха.

– Вот они и сами, – глухо сказала Матрения.

– Друг! Кого вижу! – закричал отец Варсис.

Сменцев поднялся ему навстречу. Смирненно склонился, принял благословение, потом друзья обнялись и трижды облобызались.

– Наверх я вам самовар велю подать, отпили мы, с гостем-то за чайком побеседовать захотите, – говорила Домна Васильевна. – А на ночь в зальце на диванчике им постелем.

В уютном зальце сидят друзья за столом. Поздно. Занавески спущены, две свечи на столе порядочно обгорели. Давно сладким сном почивает вдова Якимова, да и старица Матрениа, конечно.

Стол не пуст. Хотя нет самовара, зато стоит бутылка отличного красного вина. Это уже вторая. У отца Варсиса всегда запас.

– Значит, Варсисушка, так и запомни, – говорит Сменцев. – И уж точности держись.

– Разве когда я, Роман Иванович, что забывал? Не исполнял? Вот уж второй раз, вы только кликнули: Варсис! Явись! – Я как лист перед травой.

У отца Варсиса молодое, белое с румянцем лицо. Иссиня-черные волосы недлинны, чуть волнисты. Круглую бородку, которая у него растет как-то из-под низу, он беспрестанно выглаживает, особенно когда смеется. Не русский; не русские глаза, маленькие, маслянистые, быстрые, похожие на черные смородины; и губы у него слишком яркие. Сложены бантиком.

– Я, Роман Иванович, точен как исполнительный комитет. Куда линию проведете, по линии и я. Пали пути мои к вам, и сказал я тогда в сердце моем: эй, держись сего человека. Ибо это король-человек. Да.

– Ну, разболтался. В меру ли пьешь?

Отец Варсис фыркнул.

– От эдакого медака-то опьянеть? Масло от него только в душе, да экстаз некий умильный. Будьте покойны.

– Листки, значит, мы с тобой до завтра просмотрим, и ты, после меня, свезешь их в Петербург, за Невскую заставу, к Любовь Антоновне. Она их возьмет и что нужно сделает.

– Это ведь не рыженькая? А рыженькой тоже показывать?

– Нет. Рыженькой там не застанешь. Вообще держи себя с ней, если случится, осторожно... И скромно, – прибавил он, хмуря брови. – Вот это еще, смотри. Знаю тебя. К юбке слаб. Говоришь, по первому моему кличу являлся, все бросал. А что бросал-то? Думаешь, мне неизвестно, какие там за тобой дома дела значились?

Отец Варсис хладнокровно усмехнулся.

– Есть-таки страстишка. Спорить не стану. Не всем святой жизни быть; а кому дано. Вам, например, дано, – я с вами не тягаюсь. Я цветочки придорожные люблю. Только, Роман Иванович, сами должны знать: от этой страстишки я с линии моей не сверну. Можно – ладно, а благопотребно воздержание – воздержимся; было бы ради чего. Там я, у себя, в монастыришке этом, разве рассчитывал оставаться? Ну, от безделья... проводил время, пока что. Селенье близко... Да и турчаночка там была одна, недалеко. Господь с ними, однако. Ждал все, что кликнете опять. Кликнули – вот он я. За вами не пропадешь. Куда сами выедете, туда и меня вывезете.

– Любовь Антоновне отдашь листки, ну, сколько она там найдет нужным, – останешься, только не дольше дней трех, – продолжал Сменцев, не отвечая. – Потом опять сюда. Надолго ли у тебя квартира снята?

– Да я на год, думаю, Роман Иванович. Полтора ста всего, год-то. А сами видите, уютно, спокойно.

– Пожалуй. Теперь весь июль сиди здесь смирно. И пиши те листки, другие, для Пчелиного. Ты это умеешь. У тебя слог живой.

– Выходило.

– Помни только, общее как можно. Ничего чтобы ясного, против кого, за кого, без всякой определенности. Призывай вставать за правду, да так, чтоб по сердцу хватало, – и кончено. Встанут, тогда видно будет, куда путь указать. Разных там «аще» да «какожде» не бойся. Помни, для кого пишешь. А оно иногда полезно, и для трогательности, и для затемнения.

Отец Варсис кивал головою.

– Да, понимаю, понимаю.

– А потом, своевременно, поедешь в Пчелиное. Ну, еще столкнемся, тогда скажу, что тебе в Пчелином делать, как себя держать.

– Понял.

Задумался, погладил бородку.

– Не знаю вот, ловко ли мне эдак все иеромонахом. Связа сильная. В Пчелином к попу надо будет явиться. А какой предлог, чего я туда? Чего, мол, не здешней церковью ставленный иерей по усадьбам таскается?

– Ладно, придумаем. Ни Боже мой в России рясу не снимать. Попроще одеться, это можно. А переодевание не годится. Еще зацепимся на пустяках.

Отец Варсис опять кивнул головой. Налил новые стаканы.

– Эх, Роман Иванович, чокнемся в последний разок, да и за дело. Один листик хорошо у меня вышел, что для рабочих. Похвалите. Говорить так не умею, это уж вы пусть, а написать иной раз ловко выдастся.

– И говорить надо. Мне – не следует, нельзя.

– Вы скрываться должны, Роман Иванович, разве я не понимаю. Вас никто почти и знать в лицо не должен. Дух присутствует, ну, значит, есть где-то человек, а кто – неизвестно.

– Не пересаливай в таинственностях. Впрочем, и тебе раньше времени выставляться незачем. Кое-где твоя ряса козырь, а в другом месте она сейчас все дело перепортить может.

Отец Варсис сузил губки, блаженно сощурил маслянистые глаза. Хмель не баюкал, не туманил его, а только слегка, приятно острил.

– Я уж вам отдался, Роман Иванович, так уж на вас и кладу все надежды. Ничего, выплывем.

Чокнулись. Варсис продолжал:

– Теперь я не отлипну, Роман Иванович. Да и вам какой же расчет верного слугу покидать? Расчета нет. К тому же я, Роман Иванович...

Он вдруг наклонился над столом, ближе к собеседнику, и шепнул:

– Я вашу тайну знаю.

Сменцев приподнял брови, усмехнулся одним углом рта.

– Тайну? Какую тайну?

– Сказать?

– Скажи, сделай милость.

– Никто не знает, я один знаю. Вы, Роман Иванович, в Бога не веруете. Вот что.

Сказал неторопливо, тем же шепотом и откинулся на спинку стула.

Сменцев продолжал улыбаться и молчал.

– На Боге все строите, а сами не веруете, нет! – сказал опять Варсис.

Еще помолчали.

– А ты – веруешь? – спросил Роман Иванович, глядя на него прямо.

Монах торжественно встал, тонкий, черный, поднял правую руку, – взметнулся рукав рясы, как черное крыло. Произнес громко, с заражающим волнением:

– Верую! Верую в Господа моего, во вселенскую церковь верую! И в Россию, второе мое и любезнейшее отечество, верую, в силу и мощь народа ее, в правду, кровью омытую, – верую! верую!

Сменцев глядел на него с удовольствием, почти с восхищением. Такой человек ему и нужен: тонкий, неглупый, верный и притом увлекающийся, способный вдруг прийти в экстаз от собственных слов, зажечься внезапно. Это одна из форм мудрого обмана – вдохновенная искренность мгновенья.

– Ну, довольно. Сядь, успокойся, – произнес Роман Иванович ласково. – Что там? Поговорим лучше мирком.

Тот уже сел и немножко сник.

– Ежели так, вот что объясни мне, Варсисушка. Допустим на минутку, что ты прав, что я все на Боге строю, а сам в Бога не верую. Как же ты-то со мною в одних делах? Тебе бы проклясть меня, да прах отрясти...

– Нет, что ж?.. – забормотал Варсис. – Это особая статья. Вы – король-человек, Роман Иванович. Как вы хотите – так и будет. Куда ж я без вас?

– Отлично. Особая статья, так особая. Чего ж ты так торжественно о «тайне» объявлял? На что она тебе? Раскрывать ее кому-нибудь, что ли, будешь? Ведь не будешь. Да и кому? А вздумал бы, разве тебе поверят?

– Не поверят, – признался Варсис. – И, действительно, что мне об этом... Я не рассудил, Роман Иванович, так сказал, в дружеской беседе. Я о вас наедине часто думаю, про себя, для себя, гадаю; очень ведь вы любопытный человек.

– Благодарю. А теперь, – проговорил Сменцев другим тоном, строго, – будет. Ври, да не распускайся. Неси листки, просмотрим пока; я завтра утром уеду.

Отец Варсис встал, схватил со стола пустую бутылку и стаканы.

– Эх, свечи-то догорели совсем. Да ладно, там у меня в шкапике новые есть.

И он поспешно двинулся к двери в спальную.

– Варсисушка, – окликнул его Сменцев, опять ласково. – Погоди, еще тебя спрошу, последнее. Вот ты в Бога веруешь, в церковь веруешь, в Россию, в народ... Ну, а как... в царя? Тоже веруешь?

Варсис ухмыльнулся. По лицу его бегали трепетные светлы догорающих свечей.

– Зачем это вы столь определительные вопросы задаете, Роман Иванович? Сами же говорили, – чем общее до поры до времени, тем дело спорее. Что нам о частностях. Они сами определяются, их трогать нечего.

И он скрылся в темных дверях спальни.

«Неглухой мальчик, – опять подумал, усмехнувшись про себя, Роман Иванович. – А все-таки с ним осторожно. За границу я его не возьму, дудки. К ее сиятельству тоже рано подпускать. Два ему сейчас места: Пчелиное да Застава. И то с прикровенностью. А там – поглядим».

Глава девятая

Добрый старичок

В Петербурге есть у Романа Ивановича постоянная квартирка. В новом доме, громадном, выстроенном по всем правилам гигиены. Дом в переулке, недалеко от того, непохожего на Невский проспект, Невского, что тянется от Николаевского вокзала до самой Лавры.

Квартиры в доме все мелкие. У Романа Ивановича две комнатки, но чистые, белые, свежие и как стеклышко светлые.

Мебели почти нет. Прислуги Роман Иванович не держит. У него, кажется, никогда в жизни прислуги не было, ему и представить трудно, как это он приказывал бы, а другой исполнял бы его приказания – за деньги.

Мало кто знал о существовании этой квартиры Сменцева. Так спокойнее. Адреса, для самых необходимых писем, он давал разные, чаще всего на Любовь Антоновну, учительницу, что живет вместе с Габриэлю. Нынче, так как Любовь Антоновна уезжала в экскурсию (уж вернуться должна), он и просил Габриэль сохранять его письма; и, хотя сказал, что будет гостить у Хованского, пересылать туда письма не позволил. А Габриэль вон какую штуку выкинула. Пустая девчонка. Жаль: усердная и с огоньком.

Приехав из Луги, от Варсиса, Роман Иванович отправился домой.

Только два дела еще предстоит: предупредить Любовь Антоновну насчет приезда Варсиса, а затем побывать у милого друга, Власа Флорентьевича.

Ну, а после – Сменцев хорошенько отдохнет, дома, в полном одиночестве. Торопиться некуда. Раньше недели-двух он к Хованским не вернется, и Габриэль оттуда не выпустит.

На другой день, часов около двенадцати, Роман Иванович отправился за Невскую заставу. Пока добрался...

Во дворе, чистенько огороженном, солнечно и уютно. Береза кудрявая, куры бродят.

Любовь Антоновна увидела его в окно.

– Здравствуйте. А я вчера только вернулась.

Высокая, угловатая девушка в белой кофточке, синей юбке. Молодая, но немного старобразная. Бледное лицо, серьезное и приятное. Волосы гладко зачесаны за уши, губы сжаты.

– Габриэль куда-то пропала. Оставила мне сумасшедшую записку, ничего не пойму, – сказала Любовь Антоновна Сменцеву, когда они уже сидели в светленькой комнате ее за чайным столом.

Сменцев в коротких словах рассказал о Габриэли.

Любовь Антоновна молча пожала плечами. Она вообще была не говорлива и не тороплива.

Молча слушала она Романа Ивановича и дальше, когда он говорил о Варсисе. Внимательно глядела серыми, немного выпуклыми глазами.

В конце концов решили, что Любовь Антоновна теперь только примет листки и сама немного приглядится к Варсису. О листках позаботится. Экземпляров триста можно будет изготовить, а то и побольше. Осенью, может быть, о. Варсис и лично понадобится. Даже наверно.

– Смотрите, Любовь Антоновна, только бы не преждевременно.

– Нет, я рассчитаю. За кого только я лично смогу поручиться, тех и допущу, – ответила она своим ровно-неторопливым голосом.

Разговор не затянулся. Кончили хорошо и быстро. Теперь домой, переодеться – и к Влашке. Застанешь ли еще его? На даче, пожалуй, торчит.

В прекрасно шитом пальто, в дорогой, мягкой шляпе и высоких воротничках – Романа Ивановича не узнать. Он кажется старше, но и красивее. И еще кажется, что он в этих воротничках и родился, что только они, а отнюдь не синяя рубаха какая-нибудь, – его настоящее одеяние. Как удивилась бы Литта. Ей, не выдавшей его иначе, как в синей косоворотке, часто думалось, что никакая другая одежда к нему не шла бы; недаром все эти Петеньки да Федоры-кузнецы ему как свои.

В Ковенском переулке – низенький дом-особняк. Красивый, темный, уютный, – такие в Москве бывают, а в Петербурге редки.

– Спиридон, как живешь? – окликнул Роман Иванович представительного старика, входя в громадную, чуть ли не двусветную швейцарскую.

Тот встрепнулся.

– Слава Богу, Роман Иванович. С приездом честь имею.

– Что Влас Флорентьич?

– Никак отдыхают. Откушали недавно.

– Вот отлично. Здесь, значит?

– Вчерашний день из Петергофа. До завтра, кажись.

Роман Иванович уже быстро снимал пальто.

– Отлично, отлично. Не докладывай, не надо. Ведь никого у них нет? Где, говоришь? Во втором кабинете, что в сад выходит? Знаю, пройду.

Легко взбежал на лестницу. Прошел одну большую залу, другую, третью... Холодно, мебель в чехлах, люстры под кисеями... Какие хоромы! Вот комната вся деревянной мозаики, вот бильярдная, – с ее стен смотрит ряд старинных портретов... А направо концертный зал: в полуоткрытую дверь тускло поблескивают трубки высокого оркестриона.

Вот и первый кабинет хозяина, строгий, темный, – деловой. Не любит его Влас Флорентьич. Особенно не любит он принимать тут каких-нибудь важных персон, оборони Бог, ученых, профессоров... плохо с этими себя чувствовал. Что ж, что миллионер и миллионы своим собственным умом нажил; что ж, что чуть не самый крупный русский издатель и газета его *Земля Русская* в сотнях тысяч экземпляров расходуется; он все-таки мужичок, ум у него коренной, природный и хоть всеми делами самолично заправляет, – а при каком-нибудь сверхкультурном журналисте, вроде Звягинцева, или напыщенном профессоре – у него всегда может вырваться неловкое словцо. Они в нем заискивают, и не из-за денег одних, а чувствуя тоже, что в самом журнальном да издательском деле он чище их понимает; однако при каком-нибудь неудачном словце Власа Флорентьича не преминут усмехнуться в усы и запомнят.

И Влас Флорентьич избегает лично таких приемов. Есть у него на то другие люди, специально нанятые, да и два зятя, оба магистры, к редакции приспособлены. Ну, а во всем прочем – иное дело: во всем прочем хозяйский глаз и хозяйская рука.

Второй кабинет проще, уютнее и меньше. У широкого окна в сад, в удобном, стареньком кресле, отдыхает Влас Флорентьич.

– Кто это? Что надо? Ты, Василий? Да кто там, Господи Иисусе!

Привстал на кресле. Небольшой, крепкий, кряжистый, с седоватой бородой, – приятный старичок.

– Это я, Власушка, не узнал? – с лаской проговорил Сменцев, подходя.

– Да неужто же ты, Роман Иваныч? Откудова, скажи на милость? Ну, здравствуй, здравствуй. Вот негаданно обрадовал-то!

Поцеловались. Старик, действительно, рад был. Глядел, улыбаясь, гостю в лицо. Потом вдруг, точно вспомнил что-то, оглянулся пугливо на дверь, закрыта ли, и зашептал:

– Тебя видел кто? Кто пропускал?

– Спиридон видел. Да что ты, Власушка? Ведь у тебя и дом-то пустой. А люди разве не знают, что мы знакомы, приятели? И не такой я страшный или зазорный человек, чтоб тебе от всех сплошь меня хоронить.

– Да я так, спросонков... Сам не любишь на людях. Постой, ты скажи, может случилось что?

– Спросонков, Власушка, вижу... Или уж к старости пуганой вороной становишься. Ничего не случилось. Угомонись.

Старик вздохнул, потом тихонько засмеялся.

– И рад-то тебе всякий раз, а что правда, то правда: трусу праздную. Дел твоих не знаю, одно знаю: худых не будешь делать и кашу большую заварить можешь. Ты ведь не простой, ты у нас Иван-царевич, – Роман-царевич. А только стар я в новое чего впутываться, мне бы что есть дохранить. Пусть любовь моя, помощь да благословение пребудут в тайности.

– Эх ты, Власушка, старец Божий! – весело усмехнулся Роман Иванович. – Я ли твои тайности не уважал. В дом к тебе в гости не хожу, в газете твоей не пишу... Хотя отчего бы? – прищурился он, поддразнивая. – Я ведь мастер... Ежели на цензуру не глядеть, остро можно... Под псевдонимом, а?

Влас Флорентьич замахал руками в ужасе.

– Чего ты, чего ты! Под каким псевдонимом тебя скроешь? Да после не расхлебать, коли что. Голубчик, ты и не мни. Такие времена теперь... А я ли тебя не люблю? Флорешку тебе моего отдал, сам благословил, он человек молодой, пусть ищет, где глубже, ты на худое не поведешь. А я уж свое отжил, меня не пугай, ради Христа самого.

– Да пошутил я, папенька. На что мне твоя газета? А за любовь и за Флорентия спасибо.

– Как он у тебя? – с интересом спросил старик. – Пригождается? Ученый парень, только все мнилось мне – с какой-то он с придурью.

– С придурью! Коли чего папенька в сынке не понимает, то и придурь? Нет, он славный мальчик, тонкий, я им доволен.

Влас Флорентьич опять вздохнул.

– Тонкий. Вот где тонко, там и рвется. Да уж будь, что будет. Пушай его. Вам с ним виднее.

Помолчали. В комнате с прикрытыми занавесями окнами сильно темнело.

– Угостить бы тебя чем, Роман? – встрепенулся старик. – Вина может, ликеров... Я велю Василию, в минуту.

– Нет, не надо, поздно, – отозвался Сменцев. – А вот что: денег ты дай.

– Будет ли у меня? Поглядеть надо. Ведь много, чай, опять возьмешь?

– Не очень. Чека не станешь давать?

– Нет, нет, что чек. Лучше я тебе наличными, из рук в руки. Меж четырех глаз. Коли не хватит – скажи, когда опять придешь? приготовлю.

– Ладно. Пока дай тысячи две.

– Две? Ну, это найдется. Вчера тут лежало...

Влас Флорентьич достал откуда-то ключи и пошел в угол к темному шкапу.

– Электричество поверни. Вон хоть там, у двери. Дверь-то заперта?

Комната осветилась мягким, неярким светом.

– Я ведь не на дела твои даю, я их, дел этих, и знать не знаю, – говорил Влас Флорентьич, возясь у шкапа. – Я тебе даю, лично. Тебе ведь взять неоткуда. Тетенькино-то наследство мужикам роздал, как это у вас там идейно полагается.

– Конечно, конечно, мне даете, – смеялся Роман Иванович. – Уж это все давно решено и подписано. Мне разве пить-есть не нужно. Одеться тоже... Вот осенью думаю за границу поехать. Ну, до тех пор свидимся.

Влас Флорентьич аккуратно запер шкап и повернулся к гостю.

– За границу?

– Да, в Париж. Славный город. Недаром говорится: заедешь – угоришь.

– В Париж?

– Ну да, ведь сказал же. Что, мне туда поехать – покутить, что ли, нельзя?

Старик остро и умно глядел на него из-под седеющих бровей. Глядел и Сменцев; глаза его откровенно смеялись.

Улыбнулся и Влас.

– Кто говорит. Пути соколу ясному не заказаны. Вот тебе, пока. Хочешь считай, хочешь нет. Пачки считанные.

Опустил глаза и, вздохнув, прибавил прежним тоном:

– Вот и Флореша частенько, пришли ему, да пришли. Мне не жалко, что ж, дело его молодое.

– Я знаю, Власушка, ты на лодырничанье не скупись. Умница ты у меня, старичок.

И он ласково похлопал его по плечу.

– Что ж вина-то не выпьешь?

– Нет, милый, я уж пойду. К тебе еще кто бы не пожаловал. Ведь знают же, что ты в городе.

– И то, – заволновался Влас Флорентьич. – Весьма даже возможно. Да я сам лучше поеду. В типографии человека надо повидать.

– Вот видишь. Прощай же, голубчик. Спасибо тебе.

– Не на чем. Мы што, люди – люди, а ты ведь Иван-царевич. Прощай, Романушка; Христос с тобой, благослови тебя Матерь Божия.

В дверях Сменцев обернулся.

– Ах, старик, старик. Ведь вот иной раз думаешь: типография у него своя, народ известный, как бы подчас удобно это. А жалеешь тебя и соблазну ни-ни, не поддаешься.

– Что типография? Ну что еще типография? – торопливо отозвался Влас Флорентьич. – Свинчаток этих, что ли, нет? Эка! На наличные-то, друг, свинцу сколько хочешь закупить можно...

– И то правда... Не совсем на одно выходит, ну да уж Бог с тобой. Хороший ты старик. Прощай, лихом не помянешь.

Глава десятая

Чистый

Жарко.

И сухо, и как-то скучно, – ветрено. От суши и ветра уже падают ранние листья в аллеях. Но за озером, в лесу, болота не сохнут, хотя свежести от них никакой.

Литта гуляет много – одна. Ей хочется быть одной. Такая тоска, такие думы. Впрочем, есть главная дума. Вопрос, который нужно решить. А как его решить?

С отъезда Сменцева прошла не одна неделя, а целых две, – может быть, больше. Габриэль живет на Стройке и живет, освоилась, кажется, очень довольна. Весела, болтлива и не глупа. С Литтой пыталась было дружить вначале, – но как-то не сошлась. Катерина Павловна вечно в суетливых хлопотах, ну и вышло так, что Габриэль больше всего бывает с Алексеем Алексеевичем. Сумела его растормошить, они спорят, гуляют вместе, даже ездят куда-то на кривой таратайке, – Габриэль правит толстопузой деревенской лошастью и хохочет. Веселая.

На опушке леса недалеко от ручья есть большое дерево с низкими развесистыми ветвями. Литте оно почему-то нравится. Любит сидеть, прислонившись к стволу, глядеть-вправо, где так просторно, где над волнистыми холмами лилоует небо. Хорошо и лежать в траве; траву, первую, давно скосили, но выросла вторая, тоже зеленая и цветистая, – ручей близко.

«Мне надо освободиться, это главное. Надо освободиться, – думает Литта свою вечную надоедливую думу. – Надо непременно... Как? Посоветоваться не с кем. С Михаилом нельзя, даже когда она его и увидит... если увидит. С Дидусей? Где он? Да нет, нет, она понимает, что это ее дело, и надо самой, одной все придумать. А положение трудное».

Графиня-бабушка тогда, во времена доверия к старому профессору Дидиму Ивановичу, который готовил Литту на курсы, отпустила ее учиться за границу. Отпустила странно легко: со своей приживалкой и верной Гликерией. После всей этой ужасной истории с братом Юрием графиня точно забыла о внучке. Не замечала, тут ли она, там ли; бросилась в ханжество, и вышло у нее ханжество свое, действенное, деятельное, властное, – даже не ханжество, а что-то совсем другое.

Отца Литты, старого сенатора, подагрика и брюзгу, графиня быстро перевернула на свой лад, – Литта едва узнала Николая Юрьевича. Сколько лет жил он в доме графини, на отдельной половине, одинокий, злой, закутанный в пледы, растерявший все связи, забытый. Теперь он, покорный графине-теще (которая, впрочем, всегда его ненавидела), восседает в ее салоне, благословляется у епископов и архимандритов, крестится мелкими, приятными крестами и, кажется, состоит каким-то опекуном каких-то благотворительных учреждений.

Литта приехала из-за границы весной, пробыла дома недолго и не успела понять, что именно творится. Одно поняла с ужасом: за границу ее больше не пустят. Окончательных слов не было сказано. Графиня к ней милостива. Разрешила ехать к Хованским гостить. Но... что же обманывать себя? Вот приедет осенью в Петербург, и окончательные слова скажет графиня.

Бежать?

Литта не наивная девочка. Даже если б удалось бежать без паспорта, без копейки денег – недалеко она убежит: графиня со дна моря достанет ее, несовершеннолетнюю, «возвратит отцу», если захочет. И уж, конечно, захочет.

Бежать и тайно обвенчаться с Михаилом за границей? Думала она и об этом и бросила мысль. Какие законы охраняют жену человека, живущего вне законов? И как это она будет его «законной» женой? Пустое, пустое.

Да если б и можно было, – она не хочет. Много причин, почему не хочет. Она должна быть его другом, помощницей, участницей дел его, а не связью, обузой, беспомощной девоч-

кой, которую он должен кормить и поить, да притом эмигранткой ни с того ни с сего, глупо и безнадежно лишенной права приезжать в Россию...

Есть еще одно: покориться, жить три года в салоне графини, лицемерить, тайно и редко сообщаться с Михаилом, оставить его...

Но Литта знала, что этого не сделает, а потому выхода не было.

– Юлитта Николаевна! Дорогая! Вы тут? Спите?

Ее нашла Габриэль, вынырнувшая откуда-то из чащи. Литта вздрогнула от неожиданного оклика.

– Жара-то какая! – Габриэль уселась под деревом рядом с Литтой. Белый платочек скинула, и рыжие волосы ее сверкнули под ломаным солнечным лучом. – Я вам не мешаю? Немножко прошлась. Как жар спадет, мы с Алексеем Алексеевичем на мельницу поедem. И обеда ждать не будем. Там, верно, есть молоко. А то стемнеет.

Литта молчала.

– Здесь хорошо. Еще лучше лечь, вот так, на спину, в траву и смотреть в небо. Вы любите небо, Юлитта Николаевна?

Литта молчала. Но стыдно было молчать. За что она обижает Габриэль?

– Здесь хорошо, – произнесла она вяло, еще думая о своем.

Габриэль приподнялась на локте и тряхнула рыжей головой.

– Вам, может быть, неприятно, что я так внезапно явилась и живу да живу? Я понимаю, это странно...

– Что вы, Габриэль? – вспыхнула Литта. – Отчего вы так подумали. Здесь и дом не мой, я сама в гостях. Вы оттого, что я редко с вами разговариваю? У меня уж характер такой просто.

Габриэль закусила травинку.

– Здесь хорошо, и Алексей Алексеевич милый, и все... Но, конечно, я бы давно уехала, если б могла. Не могу. Слово дала Роману Ивановичу дожидаться его здесь. А мне даже и не пишут. Ни он, никто.

Засмеялась и прибавила:

– Алексей Алексеевич да и все, верно, думают, что я влюблена в Сменцева. Мне безразлично, однако вздор какой.

Литта поглядела на нее с внезапным любопытством, но промолчала.

– В него можно влюбиться, – продолжала Габриэль, уставив на Литту круглые, ярко-голубые глаза. – Он чистый человек, чище других... Да я-то не влюблена. Иногда, признаться, и жалко, что не влюблена.

– Жалеее? Почему?

– А он мне больше доверял бы. Он думает, что на женщину только тогда можно вполне положиться, когда она любит, то есть влюблена. В женскую любовь к делу не очень верит; в любовь к себе – да.

Литте вдруг стала противна рыжая Габриэль, и ее слова, и Сменцев. Хотела сказать что-то, но Габриэль спокойно продолжала:

– Он был бы прав, если б не смотрел узко. Без влюбленности женщина, конечно, никуда не годится. Но влюбленной можно быть и в дело, а перед душой дела, перед Романом Ивановичем, преклоняться.

– Так вы перед ним преклоняетесь?

– Конечно.

Литта не находила слов. Но рядом с негодованием в ней росло любопытство, – глупое и неодолимое, – к этому Сменцеву. Если в него не влюблены, перед ним преклоняются... Но ведь неприятный же он...

– Я за ним всюду пойду и всегда, – болтала Габриэль. – Он – раскрывающая горизонты сила. Я бы, пожалуй, и влюбиться в него могла, если хорошенько подумать, да ведь он меня не полюбит...

– Ах, вот в чем дело! – сказала Литта зло; тотчас же, впрочем, раскаялась.

Габриэль и не заметила возражения.

– Он этим просто не занят. Энергия на другое направлена. И некогда. Это ведь очень большая трата времени – любить.

– Прямо ужас, что вы говорите, Габриэль, прямо ужас. Я даже разобраться не могу. И вашего Сменцева окончательно не понимаю.

– Его не сразу поймешь. Многих, например, увлекает его строгая жизнь. Какой, говорят, чистый, святой. Конечно, красиво, но это вовсе не банальный аскетизм. Роман Иванович выше. Я уверена, он никогда не станет бороться со страстью, если бы страсть такая пришла. На борьбу уходит еще больше сил и времени, чем на самую «любовь». Он цельный, цельный – вот что поймите.

– Ну, тем лучше для него, – сказала Литта с досадой и встала. – Я пойду, пора, скоро обед. Габриэль тоже вскочила.

– Да и мне пора. Мы до обеда с Алексеем Алексеевичем уезжаем. Он меня ждет.

Двинулись по опушке вместе.

– Замечательный человек Алексей Алексеевич. Какая глубокая душа! И сил – правда, скрытых – много. Неужели Роман Иванович не говорил вам, что Хованский в сущности наш, наш?

Литта остановилась.

– Послушайте, Габриэль. Вы ошибаетесь. Вы обо мне, должно быть, неверно думаете. Я ничего не знаю. Со Сменцевым почти не говорила. Что значит «наш», не «наш» – я даже не понимаю.

– Вот как! – протянула Габриэль. – А я думала, Роман Иванович с вами откровеннее. Впрочем, он еще приедет.

Вдруг вскрикнула, перебив себя:

– Смотрите, сколько незабудок! Вон внизу, у ручья. Привыкнуть не могу к этой прелести. Сейчас нарву.

И она кинулась под горку. Литта не пошла за девушкой и ждать ее не стала. Двинулась медленно вперед, потом повернула в лес, по глухой тропинке.

Как скучно. Господи, как скучно и тошно. Чужая она всем – и всему: березам, лугу, незабудкам... Или оттого так кажется, что смутно на душе, неизвестность впереди, непонятность около, а она – одна?

Глава одиннадцатая

Любовь – зла

Никогда еще никто не видел Катерину Павловну в таком состоянии.

Литте даже показалось, что она похудела с утра. За обедом молчала, на себя непохожая, и будто сдерживаться старалась ради бонны и детей. Но когда подали пирожное, она вдруг из-за пустяка раскричалась на горничную, потом на бонну, закрыла лицо платком и убежала.

«Что-то случилось», – подумала изумленная Литта.

Вавочка даже удивилась, маленькая, и протянула:

– Мама... Мама капризничает... Ай-яй-яй!

И покачала головой, как фрейлейн качает, когда раскапризничается сама Вавочка.

– У мамы головка болит, я знаю, – сумрачно сказал Витя. – Надо теперь только не шуметь.

Кое-как дообедали. Бонна, сжимая губы многозначительно, увела детей, а Литта сейчас же отправилась вверх.

Постучала в дверь спальни:

– Тетя Катя. Можно?

Спальня – громадная комната с круглым окном. Она же будуар Катерины Павловны, а за тяжелой занавесью стоят две белые супружеские кровати, отделенные друг от друга ночным столиком.

На одной из этих кроватей лежала Катерина Павловна, лицом в подушку, виден был только тяжелый черный узел волос.

– Катичка, милая, – взволнованно заговорила Литта, подходя. – Я так не могу. Случилось что-нибудь? Или ты нездорова? Скажи мне.

Катя обернулась, охватила Литту обеими руками, неловко прижав к себе, и зарыдала с новой силой.

Наконец успокоилась и, сев на постели, проговорила:

– Разве можно? Да я не знаю... Да я голову потеряла. Меня как обухом...

– Что? Что?

– Пришла ко мне и объясняет, что они с Алексеем любят друг друга... Какой-то там не той, а этакой любовью, ну, да шут их знает, все равно. Любят друг друга! Никому, говорит, до этого, конечно, нет дела, но вам я сочла нужным сказать, так как вы находитесь в известных отношениях с Алексеем, а я живу у вас в доме. Я надеюсь, говорит...

Тут Катя не досказала и залилась новыми слезами.

– Да кто это? Кто говорил? – повторяла ошеломленная Литта.

– Господи! Лиля, ну кому еще, рыжая, рыжая!

Литта онемела и почувствовала себя оглупевшей. Вот тебе раз. Вот тебе и Габриэль. То она в лесу бегала и о влюблениях разговаривала. Но все-таки как же это?

Катя между тем перестала плакать и, радуясь, что есть с кем говорить, заспешила:

– Нет, подумай только. Вот ты поражена, а каково мне было? Я совершенно потерялась.

– Постой, а он-то? Что же Алексей-то говорит?

– Что же он, когда я его не видала? Его не было. Она ушла, а я как громом пораженная...

Сижу, не знаю, сколько времени прошло... Потом под окном голоса, выглянула, – они вдвоем на таратайке, и уехали... Как еще я к обеду сошла. Не понимаю.

Литта, бледная, задумалась. Обняла Катю. Тихо проговорила:

– Пустое, мне кажется. Она чудная, фантазерка. Подожди огорчаться, ведь мы еще ничего не знаем. Бог весть, про какую любовь она плела...

Катя не совсем утешилась, но вытерла глаза и заговорила о том, как она всегда счастлива была с Алексеем, какой он хороший, как любит ее и детей, а что характер у него иногда сумрачный – так он сам говорил, ему нужна именно такая жена, бодрая, веселая, именно она, Катя... Мало ли он видал народу, у них в доме молодежь, и ни-ни! Не ухаживал даже ни за кем. Не такой он человек...

– Постой, – перебила ее Литта. – А когда она тебе это сегодня сказала... ты что же? Неужели перед ней заплакала?

– Ничуть. Я сначала окаменела. А после что-то сказала, уже не помню, кажется «хорошо» или «вот как», пустое что-то. А после, она уж выходила, я вслед сказала о разводе, что если Алексей захочет развод, то я готова... Только она, должно быть, не слышала, я тихо сказала.

– Ну, и прекрасно, какие разводы! Право, мне кажется, все это сон какой-то.

– Просто проклятие, а не сон. Надо же Сменцеву, подкинул нам эту неизвестную особу – сам исчез. Какая бесцеремонность!

Тетя Катя встала с постели и теперь ходила по комнате большими шагами.

Литте вспомнилось вдруг, как Сменцев желал Алексею Хованскому для излечения от хандры влюбиться. Вряд ли думал, что пожелание это так скоро исполнится. Впрочем, тут совсем что-то не то. Чепуха какая-то.

– Я с ним всю ночь сегодня буду говорить, – решила Катя. – Пусть прямо скажет. Все равно.

– Только спокойнее будь, Катя. Право, лучше. Не сердь его напрасно.

– А завтра утром я к тебе приду и все расскажу. Длительного этого нельзя.

До темноты сидела Литта у Екатерины Павловны. Уложила ее и, сойдя вниз, сказала, что барыня не так здорова, чай пить не будет, да и ей, Литте, чаю не надо: она тоже уходит в свою комнату. Пусть приготовят для барина и для барышни.

Ей подали письмо. Случайно работник привез со станции.

«От кого бы это?» – думала Литта, поднимаясь по лестнице.

Почерк длинный, острый и такой черный, ровным нажимом. Письмо, к удивлению, оказалось от Сменцева. Очень короткое. Роман Иванович надеется, что она здорова, что он застанет ее на Стройке, куда скоро вернется. У него есть интересные для нее новости. Просит передать почтение всем, а Габриэли, которая, по всей вероятности, еще у них, его покорнейшую просьбу отправиться в Петербург не позже и не раньше двадцать пятого числа.

Вот и все.

Но у Литты губы побелели от злобы. С какой стати ей – это письмо? И, главное, передача приказаний Габриэли – через нее.

В какое он положение ее ставит? А тут еще эта история... Положительно невыносимо.

Разорвать письмо и ни слова никому. Пусть как хотят. О, если б убежать, уехать завтра же и со Сменцевым этим не встречаться больше...

Но уехать некуда. И Катю бедную ей жаль. Ничего она не понимает; и Литта, правда, мало понимает, но как же оставить одну?

А не лучше ли, если эта Габриэль уедет? Ведь двадцать пятое завтра... Стиснуть зубы, спрятать в карман все свои самолюбия, наплевать внутренне на всякие – «что вообразит Габриэль», пойти сейчас вниз (Литта слышит, они вернулись, пьют чай на террасе, говорят) – и объявить «приказ» Сменцева. И кончено. Она послушается. Фантазии – фантазиями, а послушается.

Да, так и сделать. Не стоит дольше рассуждать.

Письмо в кармане, опять Литта идет по надоевшей круглой лестнице. У порога на террасу останавливается дух перевести. Уж очень ей противно.

На столе самовар; свечи в круглых стеклянных колпаках освещают снизу ближайшую зелень, и она кажется тяжелой, серой, чугунной.

Говорят; громко, – дружески, кажется. Говорит Габриэль. О чем-то возвышенном; нельзя понять, не то о философии, не то о какой-то «народной правде»... Литта, впрочем, не вслушивается...

– А, Лилиточка! – весело крикнул Хованский. – Так вы не спите? Что, у вас голова болела?

– И теперь болит. Очень. Я на минутку сошла. У меня дело... Вот Габриэль... Федорова... – продолжала она с усилием, – я сейчас только получила письмо от Романа Ивановича. Он просит меня передать вам... его покорнейшую просьбу отправиться в Петербург... не раньше и не позже двадцать пятого. Этими словами он пишет.

Габриэль удивленно вскинула глазами.

– Вам он пишет? Просит приехать? А сам что же?

– Я ничего не знаю, – сдерживаясь, проговорила Литта. – Вот я передала.

Повернулась, чтобы выйти. Но Габриэль вскрикнула взволнованно:

– Я удивляюсь! Почему же он мне прямо не написал? И разве почта была?

Литте захотелось бросить ей проклятое письмо в лицо и убежать; но усилием воли она вдруг совершенно успокоилась, даже улыбнулась.

– Кузьма привез мне письмо со станции. Оно со мной. Хотите взглянуть сами? Я передаю точно. А если Роман Иванович не адресовал письмо вам, то, вероятно, имел на то основания.

Габриэль опомнилась. Сделала серьезное лицо.

– Да, да, я понимаю. Конечно, имел основания. Зачем же мне письмо? Надо ехать – ну и поедем. Когда у нас двадцать пятое?

Хованский, с удивлением смотревший на эту сцену, сказал:

– Мне самому нужно к двадцать седьмому в Петербург. Я бы вас проводил...

– Нет, нет, я поеду, как сказано. Там увидим.

– Спокойной ночи, – поспешно перебила ее Литта. – Простите, ужасная мигрень...

И она ушла.

Думала, что долго не уснет, – но спала крепко, сладко, радостно, забыв все, что мучило. Утром ее разбудила поцелуями тетя Катя.

– Милая, здравствуй. Знаешь, он меня разговорил. Совсем в другом свете представил...

Лицо, однако, у нее было не веселое, а какое-то недоумевающее:

– Он засмеялся и говорит, что это я виновата, а никакого трагизма нет. Что я, должно быть, сама чем-нибудь вызвала эту Габриэль на объяснение, а к тому же она фантазерка и все слова у нее со своим собственным смыслом. Говорит еще, что действительно любит Габриэль... но так, как если бы это была наша большая дочка... Ты понимаешь?

– Д-да... Понимаю... – протянула Литта, которая, однако, ничего не понимала.

– Ну, вот. Еще говорил, что и я ее должна любить, и что мы с ним много ей можем помочь. Она такая увлекающаяся, хотя и умная, у нее очень интересные идеи, но необходимо, чтобы около нее был трезвый человек, иначе она себя погубит. Ты знаешь, она сегодня уезжает. Получила какое-то известие от Сменцева.

– Да, знаю. Трезвый человек... Ведь она со Сменцевым... ведь с ним у нее какие-то дела...

– Я то же говорила Алексею. Про Сменцева-то. Да Сменцев будто и сам неизвестно какой, да и не любит ее вовсе. Алексей сказал, что она сама по себе ценность. Что нельзя ее покидать.

Литта вскочила и с притворной веселостью обняла бедную Катю.

– Катюша! Видишь, все и объяснилось. Конечно, всякий человек ценность. И это очень хорошо, если Габриэль полюбила Алексея, полюбит тебя. Она так одинока.

Катя еще недоверчиво, но уже улыбалась.

– Так ты это поняла? Верить?

– Ну, как же! Напрасно только сцены было делать Алексею. Он к этому не привык.

Катя повеселела.

«Какой все это вздор! – думала между тем Литта. – Друг друга обманывают, сами себя обманывают, – не разберешь. И я Катю обманываю... Ну, должно быть, так надо».

С мутной головой сошла она вниз.

Габриэль уехала к вечеру. С ней все были приветливы. Катя робко и неловко старалась тоже проявлять ласковость.

Алексей Алексеевич сам отвез ее на станцию.

Глава двенадцатая

Брат

Никогда Сменцев не был рабом своих собственных планов и расчетов, – в подробностях, конечно. Планы у него были гибки и лишены механичности. Требовал точности, механичности исполнения – от других; но без этого нельзя: исполняющий должен быть послушен.

Так, Роман Иванович вместо недели пробыл в Петербурге больше трех. Сделал там, кроме намеченных, еще несколько дел. О. Варсиса решил пока в Пчелиное не посылать. А спешно вызвал из Пчелиного друга своего, Флорентия Власовича, съехался с ним на станции и привез на Стройку.

Это случилось на другой день после отъезда Габриэли.

Не прошло недели, как Флорентий Власович сделался на Стройке общим любимцем. Витя от него не отставал, притом держал себя с ним весьма независимо; тетя Катя звала его, как Сменцев, Флоризелем; Хованский, который ездил на два дня в Петербург, вернулся пресветелый, – шутил и смеялся с Флоризелем, точно мальчик.

Но удивительнее всего было отношение Литты: недоумелая злоба и мрачность, с которыми она ждала Романа Ивановича, отошли от души при первом взгляде на Флоризеля, и сам Роман Иванович показался ей светлее, проще. Совсем не страшный. Это она в одиночестве и тоске все себе навообразила, точно маленькая девочка.

А Флоризель... Какое родное в нем, близкое, детское, братское. Тонкий мальчик он, прозрачные волосы мягко завиваются, глядят открыто светло-карие глаза, а на подбородке, как у самой Литты, милая ямочка, только глубже и резче.

В лесу часто гуляют они вдвоем с Литтой или Витю прихватят с собой; Роман Иванович держится в стороне; много сидит у себя, что-то пишет.

Рада Литта бегать по лесу. Ей легко, весело. Флоризель вырезывает палки, разводит костры на лесных полянках; как-то захватили картошку в корзиночке, пекли. Грибов много, и молоденькие: чуть видны во мху, надо откапывать.

У Флоризеля чистый, нежный тенор; поет над озером старые какие-то романсы, и очень хорошо выходит. А раз вечером запел вдруг «Да исправится молитва моя», и тоже хорошо вышло.

– Откуда вы знаете, Флоризель, церковное пение? – спрашивает Литта, задумчиво вглядываясь в сумеречную тихую печаль озерного простора.

Флоризель старательно, перочинным ножиком дорезывает какую-то дудочку и встряхивает головой, потому что кудри лезут на глаза.

– Да разве я знаю? Я не знаю, а так... По слуху. А после я вам баптистский псалом спою. Интересно. Однообразно только.

– Флоризель, отчего вы мне такой родной? – продолжает Литта, не глядя на него. – Вы на моего брата похожи... Нет, впрочем, нет... на друга моего одного... Не лицом, – лицом скорее на брата...

– Эх, клапанов не успел прорезать... Темно. А увидите, хорошая будет дудка. Я вас, Юлитта Николаевна, сразу полюбил, вы простая. У вас, верно, горе какое-нибудь есть, беспокойство?

Литта вздохнула и помолчала.

– Много, Флоризель, много чего есть. А я все одна.

– Ну, чего, вы очень не думайте. Вы простая. В Бога ведь верите?

– Верю...

– В Христа?

– Да, Флоризель. Как вы хорошо, прямо, спросили. Я верю... А вот он... он не верит. То есть нет, верит, только не знает, верит ли... И в этом его мука.

– Его? Чья? Вы про кого говорите?

– Про него... Про того, кого я люблю. Ах, мне все кажется, что так давно мы дружны, что давно я вам все рассказала...

– Нет, понимаю. Вы, верно, о Ржевском говорите. Я слышал. Я скоро его увижу, верно. Очень хочу.

Литта не удивилась и не расспрашивала ничего. Так было все просто, печально и хорошо – в сумерках.

– А я было подумал сначала – вы о Романе Ивановиче заговорили, – сказал Флоризель, улыбаясь.

– О Романе Ивановиче? Нет... Бог с ним. Вы его любите, Флоризель?

– Ну, еще бы. Мы же вместе, в одном деле.

– В каком? – неожиданно для себя спросила Литта.

– А в Божьем и в мужичьем. Как не быть в этом деле? Люди кругом – я про всех говорю – бедные и глупые. Не знают, как жить, не знают, что делать. Думают, что не верят, а если и верят, так неправильно, и вера им жить мешает. Надо работать с ними.

Сырой туман давно длинными, качающимися столбами подымался над осокой. У Литты вздрогнули плечи.

– Флоризель, мне холодно, пойдите домой. И пойдите наверх, в мою комнату. Расскажите мне дальше и подробно не вообще, а все, как есть. Я знать хочу. Мне надо знать, то ли это, о чем я... мы думали... Не то? Надо мне.

– Хорошо, – сказал Флоризель и встал. – Пойдемте, пожалуй. Только о чем рассказывать? И не мастер я. Мне же Роман Иванович говорил, что вы все знаете...

– Почему говорил?

– Как почему? Да Бог с вами, Юлитта Николаевна. Да разве тут все в словах дело? Оно само понимается. Вот гляжу я на вас, вижу, что вы такая простая, а лицо у вас печальное, беспокойное... Гляжу и чувствую, что вы вся тут же, с нами, и должны все знать... Холодно. Давайте, побежим по аллее к дому. Наперегонки. Живо согреемся.

И они побежали. Длинноногий Флоризель был проворнее, но близорукость приучила его к осторожности, теперь же под деревьями стояла плотная ночная чернота, – и потому Литта не отставала от спутника. Деревья гуще, темнота чернее, едва видится впереди серое пятно просвета.

– Ох, устала... Не могу... Кто это?

Она в темноте набежала на кого-то, почувствовала чьи-то сильные руки на плечах.

– Ну и бегайте же вы! – сказал невидный Роман Иванович, смеясь. – Едва успел руки протянуть. Вы бы упали.

Флоризель в это время уже наткнулся на скамейку.

– Вот и я едва не свалился, – заявил он, хохоча. – А зато ведь согрелись, правда, Литта?

Они все пошли к дому, тихо. Литта действительно согрелась, ей было весело. И Роман Иванович, которого она не видела, казался ей таким близким.

– Роман Иванович, послушайте. А куда девалась Габриэль? Она больше не приедет?

– На что она вам? – шутивно спросил Сменцев. Флоризель подхватил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.